

НИКОЛАЙ ГАЙДУК



ЗАЧЕМ ЗВЕЗДА ГЕРОЮ

Николай Гайдук

**Зачем звезда герою.
Приговорённый к подвигу**

«Гайдук Николай Викторович»

2017

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус) я44

Гайдук Н. В.

Зачем звезда герою. Приговорённый к подвигу / Н. В. Гайдук —
«Гайдук Николай Викторович», 2017

ISBN 978-5-906101-58-7

Новый роман известного русского писателя Николая Гайдук «Зачем звезда герою» – это роман о войне и мире на земле и в душе человека. Всё начинается в тихом, безмятежном селе Миролюбиха. Накануне праздника Победы на чердаке одного из домов бронебойно-зажигательной очередью неожиданно окрысился пулемёт, за которым находился Герой Советского Союза, недавно развалившегося. Что довело человека или кто довёл его до такого отчаянья? И почему? На эти и другие многочисленные вопросы герой пытается найти ответы. А в это время люди – как военные, так и гражданские – лихорадочно пытаются решить вопрос: как быстрее и лучше покончить с этим героем, развязавшим настоящую войну в районе? А там ещё, как на грех, затеяли войну игрушечную – реставрация военных событий 1942 года. И в результате заварилась такая кровавая каша, которую невозможно расхлебать и зубы не сломать. Роман заставляет задуматься над многими «больными» вопросами, незримо витающими в воздухе современной России.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус) я44

ISBN 978-5-906101-58-7

© Гайдук Н. В., 2017
© Гайдук Николай Викторович, 2017

Содержание

Пролог	6
Часть первая. Мирлюбиха	9
Глава первая. Белые ночи цветут	9
Глава вторая. Доля	13
Глава третья. Хрустальные горы	16
Глава четвёртая. Зелье приворотное	22
Глава пятая. Нечаянная радость	29
Глава шестая. Воспоминания и сновидения	40
Глава седьмая. Взрыв	45
Глава восьмая. Мечта на колёсах	48
Глава девятая. Жизнелюб и книголюб	51
Глава десятая. Землетряска, дьявольская пляска	57
Глава одиннадцатая. Бурдакрович	61
Глава двенадцатая. В мире темноты	67
Глава тринадцатая. Пропала держава	73
Глава четырнадцатая. Тоска и небо в клеточку	78
Глава пятнадцатая. Гуляй, ребята	86
Часть вторая. Защити и сохрани	103
Глава первая. Холода	103
Конец ознакомительного фрагмента.	109

Николай Гайдук
Зачем звезда герою.
Приговорённый к подвигу

© Н. В. Гайдук, 2017

* * *

Пролог

Люди думали, что он ещё в Москве, в Кремле – золотую звезду получает, хрустальным бокалом шампанского запоздалое счастье своё обмывает. А он уже был дома. Усталый и печальный, он притащился в багрово-синих сумерках, но свет почему-то нигде не включил. В темноте затаённо курил и сутулился, пряча папиросу в горсти, точно в окопе сидел, опасаясь «ангела смерти» – так на фронте называли снайпера.

А потом старый солдат встряхнулся. Глаза его взблеснули по-орлиному.

– Мать моя родина! – Кулаком пристукнул по столу. – А что я здесь торчу, как крот, впотьмах? Щас мы устроим праздник на нашей улице! Пир на весь мир закатим!

Разголившись до пояса, он сполоснулся после дороги, достал чистую, глаженую гимнастёрку старого образца. Стоячий ворот застегнул на две пуговицы, показавшиеся твёрдыми жуками – норовили убежать из-под пальцев. Затем откуда-то из-за печи появился пыльный трофейный патефон и в тишине зазвучал задумчивый голос с хрипотцой:

Синенький, скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты провожала и обещала

Синий платочек сберечь.

Старый солдат рюмку водки налил, перед портретом жены поставил – скончалась в прошлом году.

И пусть со мной Нет сегодня любимой, родной,

Знаю, с любовью ты к изголовью Прячешь платок голубой.

Он постоял, понуро глядя на портрет. Патефон затих и в пустоте, в прохладе вдруг почудился призрачный зов – покойная жена будто окликнула из поднебесья. Он вздрогнул. Посмотрел на потолок. С минуту помедлил, обозревая сумрачную горницу. На стене между окнами висела карта бывшего Советского Союза. Фронтовик зачем-то снял её, бережно сложил, сунул за пазуху и по деревянной скрипучей лестнице – прямо из сеней – поднялся на чердак.

Лимонным светом вспыхнувшая лампочка, прикреплённая под крепким треугольным сводом, озарила странную картину – весь чердак был напичкан оружием времён Великой Отечественной. Причём оружие тут не пылилось и не ржавело. Бессонными ночами к нему неоднократно прикасались заботливые руки фронтовика. Хорошую смазку и мужицкую ласку получали станковые и ручные пулемёты, карабины, револьверы, винтовка с холодным оскалом штыка. Тут громоздились ящики с патронами, гранатами. На полках и полочках мерцали маслёнки, чехлы и сумки для коробок с лентами.

А кроме того, в дальнем углу чердака сусальным золотом сверкал образ святого князя Дмитрия Донского, стоящего в полный рост, – большая икона. А в другом углу стоял, сурово глядя, иконописный Сергей Радонежский – духовный собиратель русского народа. А в третьем углу громоздились доспехи древнебылинного богатыря: кольчуга, шлем и обоюдоострый меч, изъеденный ржавчиной многих веков.

Фронтовик постоял возле раскрытого чердачного окна, глубоко и жадно подышал весенним воздухом, таящим в себе ароматы зацветающих полей, лугов и печальную, полынную горелинку – из темноты струился дым весенних палов.

«Горит, горит село родное, горит вся Родина моя, – промелькнуло в голове. – Но ничего, броня крепка и танки наши быстры!»

Закрыв глаза и плотно стиснув зубы, он стал проворно, привычно разбирать пулемёт Дегтярёва. Под грубыми пальцами, измозженными каждодневной работой, зазвякали основные части и механизмы: ствол со ствольной коробкой и прицельным приспособлением; затворная рама с газовым поршнем; рукоятка перезарядки; затвор и всё остальное, знакомое до железной родинки, до ямочки на пулемётной щеке.

И тут случилось нечто непредвиденное – то, что подломило психику, и без того изрядно подломленную за годы войны.

Реактивный лайнер в глубине предутреннего неба перешёл звуковой барьер – над чердаком раздался громовой раскат, заставивший содрогнуться. Пылинки закружились, слетая сверху, и заполошно запищала птаха, впотьму ночевавшая под застрехой. А в следующий миг под берегом раскололись ружейные выстрелы – охотники шмаляли по уткам.

Старому солдату сначала стало зябко – морозные пупырышки прокатились по спине и по груди. А в следующий миг – будто обварили кипятком.

«Ну, всё! – Он голову в плечи втянул. – И сверху накрыли, и с тылу обходят! Вон там «Фердинанд» притаился!»

Фронтовик забыл, а может и не знал, что в области, где он живёт, придумали необыкновенную забаву под названием «реконструкция военных событий». В этот час в туманах на лугу, на берегу действительно появилась немецкая и советская бронетехника; два-три танка были настоящие, а остальные – хорошо разрисованная фанера. Фронтовик увидел бронетехнику и обомлел. Потемневший взгляд его стал жутковато-бездонным, как бывало перед рукопашной. Он хотел открыть чердачное окно, но шпингалет заело, и тогда он стволом пулемёта саданул по стеклу – осколки с перезвоном раздробались на завалинке.

Пулемётчик выглянул в чердачное окно – заметил краюху кровотокащего солнца, встающего над зубчатой стеной далёкого глухого леса. А в тумане на лугах всё отчётливее проступал угловатый силуэт «Фердинанда», рядом с которым приземлился «Фокке-Вульф». И очень явственно стал ощущаться горький дым от весенних палов, разгулявшихся где-то на том берегу. И вся эта печальная картина в воспалённом мозгу фронтовика неожиданным образом превратилась в картину апокалипсиса – горели деревни и сёла, леса и пашни, и города, захваченные супостатом.

И опять пришла пора всё это защищать.

И тишину весенней предутренней земли распорол бронебойно-зажигательная очередь...

Рокошущая глотка пулемёта неожиданно вселила в душу фронтовика дикое какое-то веселье. Глядя на пустые гильзы, звонкой шелухой отлетевшие в пыль под сапогами, он хрипло хохотнул и снова ожесточённо придушил гашетку. И затрясся вместе с пулемётом, яростно оскаливая крупные прокуренные зубы, сквозь которые стали прорываться обрывки песни:

Строчит пулемётчик За синий платочек,

Что был на плечах дорогих!

А строчить пулемётчик умел удивительно метко – метров на сто мог свечу загасить. И через несколько минут бронебойно-зажигательная очередь ужалила оранжевую тушу бензовоза, из-за поворота появившегося на дороге. Шофёр из кабины шарахнулся в неглубокий овраг, а бензовоз, громоздко грохоча, поднялся к облакам – точно косматое новое солнце взошло над землёй.

Залаляли собаки во дворах. Переполошились люди. Птицы наперегонки улепётывали куда подальше.

Телефон в милиции начал надрываться бесперебойным трезвоном.

Здесьние власти, не сразу опомнившись, неуверенно и трусовато попытались своими подручными средствами подавить пулемётную точку, но это оказалось делом бесполезным – на чердаке засел кошмарный ас, у которого каждый квадратный метр под прицелом. Как ни хотелось тутошним князьям, а всё-таки пришлось просить подмогу. Бронетранспортёр из областного города примчался. Бойцы в намордниках.

И вскоре на окраине села – вчера ещё спокойного и скромного, ничем не приметного – разгорелся нешуточный бой.

Часть первая. Миролюбиха

Глава первая. Белые ночи цветут

1

Миролюбиха – старинное русское село. Вольготно, широко раскинулось на береговых буграх – среди берёз пригрелось, стеклянными глазами засмотрелось в текущие воды светлой реки, в зеркало лесного озера.

На восточной стороне, на краю Миролюбихи – мимо не пройдёшь и не проедешь – вскоре после войны появился крестовый крепкий дом. Со стороны посмотришь – ничего особенного. Обыкновенный дом как будто. Но...

Степан Солдатеич Стародубцев, хозяин, жилище своё соорудил по принципу: мой дом – моя крепость.

Самый главный этап во время строительства дома, основополагающий этап – это фундамент. И вот здесь-то надо было видеть, какие валуны притарабанил Стародубцев для крепости своей – стопудовые, не меньше. Молодой он был тогда, сильный, проворный, общительный. И фронтовое братство сильно было развито в те годы – друг другу плечо подставляли.

А общем, Стародубцев за «три ведёрка водки и полбочонка малосольных огурцов», как сам он шутил позднее, на телегах и на самосвалах привёз капитальные камни для дома.

А затем – опять же «с помощью водки и огурцов» – фронтовые, от солнцепёка бронзовые братья по оружию за короткое время отгрохали дом, даже не особо напрягаясь, задорно зубоскаля друг над дружкой, весело попискивая пилами, звеня топорами, гвоздя молотками.

А послевоенную пору совсем другим накалом душа горела в людях – по сравнению с накалом сегодняшним. Каждый мирный денёк воспринимался как божий подарок, и всякая возможность что-то строить, а не разрушать, как недавно было на войне, – это очень дорого ценилось, хотя давалось почти бесплатно. Что он мог им заплатить за эту стройку? Хрен да маленько. Только шапку снять да низко поклониться. Да в любой момент придти на помощь к любому из этих бескорыстных, внешне огрубевших русских мужиков, за время войны будто покрытых зловещей окалиной, но всё же сохранивших свою живую душу – ранимую, жаркую, обострённую на чувство правды, чести и любви. Такую великую душу человек выносит только из кошмарных испытаний, из погибельного адского огня.

2

Весёлое и щедрое застолье-хлебосолье хозяин стоношил после окончания строительства. Хотя ещё и мебели-то не было. За тесовым, грубо сколоченным столом восседали на широких сосновых плахах. А вместо электричества в избе горели три латунные гильзы от снарядов советской артиллерии.

– Солдатеич! – удивился кто-то из гостей, кивая на оригинальные светильники. – Откуда гильзы?

– Этого добра полно тут, – Стародубцев махнул рукою, – за огородами и по лесам.

Однополчанин, бывший старшина по фамилии Рукосталь ухмыльнулся.

– А там случайно нету огурцов? – спросил, намекая на снаряды или мины; так их называли на фронте.

– Огурцы? – Хозяин благодушно улыбался. – Надо будет посмотреть на грядках.

Славно тогда посидели они. Попили и попели от души. Поплясали под гармошку и под новенький трофейный патефон. Особенно старались два фронтовика – Стародубцев и Руко-сталь. Выкаблучивались напропалую – переплясать хотели один другого. Пыхтели и потели, давая молодецкого лихого дробаря. Свежеструганный пол сотрясался, кое-где принимая в себя отпечатки подков – плахи были ещё не крашены, в золотых узорах годовых колец, блистательно зализанных рубанками.

Потом боролись на руках – мудрёного словечка «армрестлинг» тогда ещё в обиходе не было. До войны Рукосталь имел стальные руки, а в сорок втором во время рукопашной немец ему откусил указательный палец на правой руке, и она утратила стальную хватку. «Фашисты – людоеды!» – с тех пор говорил Рукосталь. Из-за этого клятого-пятого пальца его хотели отпра-вить в тыл, но старшина спроворился доказать свою боеспособность и не ушёл с передка.

В борьбе на руках – это было у них ещё с фронта – Рукосталь частенько проигрывал. Серdito сопел, даже злился, не желая смириться с тем, что у этого «старого дуба» в руках гораздо больше горячей стали.

Возбуждённые, покрасневшиеся, они то и дело выходили на крылечко покурить.

Рукосталь не унимался – отыграться хотел.

– А вот так могёшь? – Он брал кирпич, оставшийся от стройки. – Можешь в руках рас-крошить, как сухарь?

Солдатеич сдавался, шутя.

– Мне кирпичи ещё нужны. Печку в бане сложить. Погребок обустроить.

Похохатывая, они руку друг другу протягивали, вроде бы как на ничью соглашались, на мировую.

Весна была в разгаре. Под окном черёмуха стояла в белом платишке. Соловей серебро-звонил где-то за рекой, зеркально сверкающей в незакатном и словно бы сказочном сумраке.

Рукосталь, запрокину голову, басовито говорил с чувством лёгкой ревности:

– Ты гляди-ка! И здесь белые ночи цветут! Прямо как на родине моей. В Карелии. Только тут они какие-то серенькие, хилые. А там бело, хоть ниточку в иголочку вдевай.

В избе, в приоткрытом окне играл патефон – Клавдия Шульженко на пластинке со скре-жетом пела про синенький скромный платочек, за который строчит пулемётчик, а потом пла-стинку переменили, и Шульженко стала предлагать: «Давай закурим, товарищ, по одной...»

– Как будто кто-то сразу по две закуривал, – усмехнулся бывший старшина, доставая папиросы.

Стародубцев неожиданно повеселел.

– А ты знаешь, кто вот эту песню написал – «Давай закурим»? Я скажу, ты не поверишь – композитор Табачников предлагает нам закурить.

– Да иди ты. Правда, что ли?

– Серьёзно. Представляешь, как оно бывает? Или взять, к примеру, вот этот Мясной бор, который у меня за огородами теперь. Сколько там осталось человеческого мяса. И нашего, и немецкого. Ладно! – сам себя перебил Стародубцев. – Не будем о грустном. Праздник всё-таки. Новоселица.

Старшина походил по двору, крахмально поскрипывая форсистыми офицерскими хро-мочами – в карты выиграл после Победы. Четырёхпалым своим кулаком постучал по брёвнам.

– Шикарную домину забабахал. В такой хоромине короедов должно быть – цельный отряд.

– Будет, – заверил Стародубцев. – Постараюсь.

– Не подкачай, братуха. – Рукосталь подмигнул. – Прибор ночного виденья в порядке? Оловянный солдатик в строю?

– Нормально. – Стародубцев поглядел куда-то вдаль, в серо-молочный сумрак. – А немцы-то не дураки. Прибор ночного видения они ведь первыми изобрели. «Вампир» назывался.

– Попили русской кровушки, вампиры чёртовы. – Бывший старшина, остервенело сплюнув, затоптал окурки и достал другую папиросу. – Как вспомню, так волос дыбом.

Эту тяжёлую, «свинцовую» тему не хотелось продолжать, и Стародубцев нашёл себе занятие во дворе – стал проверять на прочность плахи, сбоку крыльца приколотенные перед самым новосельем. Он вообще по натуре своей ни минуты не мог оставаться без дела. «Гомоюн» – так в Сибири когда-то называли мужиков, старательных в семье и по хозяйству. А Солдатеич был сибиряк. Вот почему на фронте к нему прилипло это сибирское странное прозвище – Гомоюн.

Приподнимаясь на цыпочки, бывший старшина посмотрел поверх забора и сказал:

– Гомоюн! Кажется, гости к тебе припожаловали. Да не простые, похоже. Заморские.

3

Автомобильные фары полосонули по сумеркам. К дому подкатило какое-то начальство на чёрной «Волге». Во двор вошёл солидный человек в костюме – Пустовойко Азар Иосич: походка с подвывертом, круглый живот, как пьедестал для галстука, самодовольная физиономия. Пустовойко не знал, кто именно справляет новоселье, он просто объезжал свои новые владения – из Москвы перебрался на «княжество» в эти края. Зато фронтовик уже знал о появлении Пустовойко.

– Начальство решило проздравить, – сказал Стародубцев и скрылся в избе, чтобы через минуту выйти с подносом – хрустальная рюмка сверкала, водкой налитая всклень.

Рукосталь, недолюбливавший всякое начальство, с недоумением наблюдал за хозяином.

– Глаза бы мои не глядели, – пробормотал он, уходя в избу. – Чего это ты перед ним пресмыкаешься?

– Уважить надо, – сдержанно сказал хозяин.

Пустовойко стоял у крыльца, улыбался, довольный такими непредвиденными почестями. Холёная рука его, интеллигентно оттопырив мизинец, приняла подавание. Кадык над галстуком коротко дёрнулся и водка убежала в организм, разевшийся на казённых харчах.

– Выпил? – глухо спросил Солдатеич. – А теперь закуси. Удар был настолько могучий и неожиданный – Пустовойко отлетел к забору и упал на толстую, по-бабьи широкую задницу. Солдатеича вдруг затрясло. Он подошёл, сапогом наступая на гранёную рюмку, – захрустела ледышкой.

– Если ты ещё раз на этот двор заглянешь, – проговорил сквозь зубы, – тебя вперёд ногами отсюда вынесут!

Не прошло и минуты, как чёрная «Волга», остервенело взревев за воротами, развернулась и укатила в пепельный морок.

– Вот это уважил! – восхищённо сказал Рукосталь, снова появляясь на крыльце. – А кто это?

Хозяин ответил не сразу. Побледневший, взъерошенный, раскалённо сверкая глазами, он прошёлся по двору. Взял топор возле поленницы и чурку однамахом развалил – здоровенную, сучковатую, с которой прежде справиться не мог. Отшвырнув топор, он глубоко вздохнул несколько раз.

– Это одна хорошенькая сволочь, – туманно объяснил он. – Недавно из Москвы прислали в область. Со мной на пару будет пахать на тракторе.

– Пахать – это ладно. – Рукосталь задумчиво смотрел в ту сторону, куда умчалась «Волга». – А если он тебе отомстить надумает?

– А что он сделает? Разжалует до рядового? – Солдатеич усмехнулся. – Нет. У меня такое ощущение, что у него рыло в пуху. Из Москвы не просто так турнули.

Деревянная бочка с водою стояла в углу просторной ограды. Стародубцев руки вымыл, об гимнастёрку вытер. Папироса, которую он прикурил, лихорадочно приплясывала в зубах.

– Гомоюн! И за что ты его угостил? – поинтересовался бывший старшина.

Стародубцев ухо поцарапал – несколько уродливое ухо, по краям подрубленное, похожее на дубовый листок на вершине русоволосого дуба.

– НКВД и СМЕРШ, – начал, было, рассказывать Солдатеич, – они тогда свирепствовали, сам прекрасно знаешь.

Жена Стародубцева выглянула из-за двери.

– Мужики! – Голос яркий, радостный. – Сколько можно дымить? Там люди ждут. Пора за стол.

Глава вторая. Доля

1

Старогородская школа иконописания – с далёких незапамятных времён – своими святыми ликами в первую очередь обязана женщинам. Здесь, на Русском Севере, испокон веков поклонялись Параскеве Пятнице, Анастасии. В ряду святых чаще всего можно увидеть самобытную эмблему Старгорода – Знамение. И нет ничего удивительного в том, что главная святыня Русского Севера – старогородская икона Божьей Матери «Знамение Пресвятой Богородицы».

Пройдёт немало лет, прежде чем Стародубцев поймёт, на кого похожа была его Доля, миловидная жёнушка Доля Донатовна. А пока не прошли эти годы, пока не набрался ума Солдатеич – он только сердцем чувствовал божью благодать, солнечный свет, струящийся от любимой женщины.

Доля Донатовна – несмотря на многие житейские проблемы и невзгоды – всегда была тихая, скромная, с голубыми глазами, с большою пшеничного цвета косой на груди, с губами в виде сердечка. Красота её была неброской, но задушевной. Красота, как бы светящаяся изнутри – красота её чистой, открытой души, изумительно кроткой, всепрощающей и как будто всепонимающей. Да она и в самом деле была всепонимающей – на уровне мудрого сердца и великой бабьей интуиции. Она принадлежала к тому уходящему типу славянских женщин, которых когда-то называли берегинями – берегущими, хранящими огонь домашнего очага.

Одним только своим присутствием женщина эта вносила гармонию в дом, в расхристанную душу мужика, когда ему случалось терять равновесие в житейских передрыгах. Мужичья тёмная сила, раскалённая до какой-то первобытной ярости, по ночам, содрогаясь, уходила в неё, как бешеная молния уходит в громоотвод. Доля стоном стонала такими грозowymi ночами даже плакала, но терпела – такая уж доля была у неё, такой «бедовый месяц» выпал ей, как называла она свой «медовый месяц» после свадьбы.

Года через полтора после того, как поженились, у них появилась тревога насчёт ребятишек. Как ни старался ночами Степан Солдатеич – даже старую железную кровать на любовном фронте «разбомбил» – только всё бесполезно. Доля не беременела. И появилось предчувствие, что дитёнка они сотворить не смогут. И не ясно было, чья вина. То ли муж неспособен к отцовству, то ли жена погубила в себе материнство на проклятой войне, где была многострадальной медсестрой. По густой грязюке, по взорванным снегам на передовой раненых бойцов таскала, таких тяжелых, что не дай бог – всё внутри стонало и трещало.

– И что теперь? – шептала Доля в темноте, «в темешках», так она выражалась. – Как быть?

– Сходить к соседу, – брякнул Солдатеич и вздохнул, тяжёлой рукой поглаживая голову супружницы. – Надо на курорт попробовать.

– Ой, хорошо бы. Только там не протолкнёшься. Может, Азар Иосич нам поможет с путёвкой?

– Кто? Какой Назар?

– Пустовойко, тот, который в области. Моя подруга знает его жену.

Стародубцев помрачнел. Напрягся.

– Забудь! – приказал. – Эта сволочь – бывший наш бригадный комиссар. Политрук. В предательстве меня обвинял, хотел законопатить в штрафные батальоны. – Говорил Солдатеич спокойно, только смотрел вприщурку, словно через прицел, – верный признак волнения. – Посевная закончится, я сам раздобуду путёвку.

Неподалёку от Миролюбихи, километрах в пятидесяти, находился знаменитый санаторий, в котором когда-то сам царь Николай со своею семьёй отдыхал. Из-под земли там выходил минеральный источник, была хорошая грязелечебница, про которую знатоки говорили, что это – наше Мёртвое море в миниатюре.

Солдатеич несколько раз пытался жену отправить в тот санаторий – подлечиться, принимая целебные ванны. И сам туда съездить хотел, «подремонтироваться» после посевной, после уборки – он работал на тракторе.

Профсоюзное начальство обещало путёвку, а потом под каким-нибудь благовидным предлогом отказывало. И Стародубцев не выдержал – заявился к председателю местного профкома.

– Что, – спросил он, – засада с путевками? Царя Николая сковырнули с престола, так теперь тут другие царьки объявились?

– Ты на кого намекаешь? – спросил председатель.

– Я намекать не буду. Не привык. Я тебе прямо скажу. Если в ближайшее время путёвку не дашь мне и жене – пеняй на себя. Я сюда на тракторе приеду и устрою Курскую дугу – всю вашу контору с землёй сравню.

Путёвки с той поры им давали неоднократно, только бестолку. Не помогал санаторий. И тогда обратились они к стародавним народным средствам.

Корень женьшеня появился у них в доме, в порошок истёртые корешки имбиря – для стойкости мужского оловянного солдата. А для укрепления женского чрева – чего только не пробовали. Ужасно горький настой полыни. Настой грушанки и зимолюбки. Настой подорожника и росянки. Но все эти старания и прилежания не давали нужных результатов. И через полгода и через год жена оставалась по-прежнему гладкой. И уже казалась не такою сладкой. И всё чаще слёзы подкипали, дрожали в глазах у неё. И до того, как лечь в постель, женщина укрдкой шептала:

– У лошади – жеребяти, у коровы – теляти, у меня нет дитяти. Как месяц растёт-нарастает, так пускай из семени семечко будет, для меня дитёночек прибудет. Господи, благослови!

И эта и другие молитвы, многократно слышанные, подспудно раздражали Стародубцева. Тиская рукой kloкочущее горло, точно удерживая гневное слово, он поднимался, уходил на кухню. Папиросу ожесточённо смолит возле окна, по привычке стараясь припрятать окуроч в ладонь, как будто опасаясь «ангела смерти» – немецкого снайпера, затаившегося где-то во мраке.

Белый силуэт старинной заброшенной колокольни проступал вдалеке.

«Самое лучшее место для снайпера – вон та колокольня, – размышлял Солдатеич, вглядываясь в потёмки. – Только шибко уж она кривая, там, поди, не усидишь. – Горько усмехаясь, он переставал таиться – огонёк папиросы малиновой ягодкой отражался в оконном стекле. – Какой тебе снайпер? Окстись, Гомоюн! Война давно закончилась, а ты всё никак не можешь от неё откреститься!»

Он по маленькой нужде выходил во двор, плечами передёргивал от полноточной свежести. И опять смотрел зачем-то на кривую, лунным светом подбелённую колокольню – как будто большая берёза вдали над полями росла в наклон.

«Мать моя родина! – кручинился Гомоюн и по привычке почёсывал ухо, на фронте посечённое шрапнелью. – Пустое поле за деревней распахал, родить заставил, а бабу не могу раскопегарить!»

Зная, что теперь уже не угомонится до утра, он уходил в поля, наполненные синеватой дробью зябнувшей росы, внутри которой уже подрагивала кровушка рассвета.

3

Красота кругом – покой и воля. Умели наши предки выбирать пригожие места, где им жить до скончания веку, где работать от зари до зари. А работа здесь была в первую очередь – на земле. Вот почему и звалась она – мать-земля, кормилица. Вот почему кругом такие немудрёные и в то же время тёплые, сердцу дорогие наименования: Сенокосное, Пахотное, Зелёный Луг, Сухое Зерновое, Миролюбиха...

Благословенные эти древние земли из века в век кровью и потом политы на сто рядов. Осенними днями, когда раздевается русский простор, или весною, когда ещё деревья не оперились, когда ветрами-соловьями всё просвистано от горизонта до горизонта – выйдешь за околицу, поднимешься на взгорок, да так и замрёшь. Только сердце твоё заполошно и восторженно зачастит и словно загорится оттого, что ты видишь, оттого, что ты слышишь, но главное – оттого, что сердце твоё чувствует.

Да, самое главное в нашей судьбе, сокровенное самое – можно только почувствовать, как это ни печально, а может быть это и хорошо. Загадка, тайна бытия и смысл жизни – это не выразить ни словом, ни музыкой, ни картинами, которые иногда тут любят малевать городские художники, приезжающие откуда-то из области. Самое главное – растворено в лазоревом вот этом русском воздухе, чтобы люди все без исключения могли дышать, напиваться животворным духом родной земли, родной воды и неба. В этой земле, в этой воде и в этом небе – из века в век – жила и живёт растворённая в воздухе память народа, его история. Словно призрачная дымка в жаркий день – эта память встаёт над землёй и подрагивает, иногда порождая разноцветные миражи; память манит к себе и печалит, и радует одновременно...

Кажется, только взойди на бугор, на курган, седой от ковыля, повнимательней взглядишь в лазоревую даль – и где-то там, в туманах прошлого и в дымке настоящего, куполами золотыми засверкает былая Русь. Волшебная страна Садко и вотчина Буслая откроются тебе. Кажется, любая береста в этих краях – даже на самой молодой берёзе – берестяную грамоту хранит, светлый привет из прошлого.

Хотя кроме светлых приветов древняя эта земля с недавних пор хранит в себе немало тёмного и даже смертоносного – тут полно оружия. Здесь люди хорошо это знают, увы. Но лучше всех, наверно, знают пахари, такие, как Стародубцев, с утра до вечера тянувший борозды по этим послевоенным полям, где произрастала и самым буйным цветом расцветала, кажется, одна только трава – на ржавую проволоку похожая кровохлёбка, нахлебавшаяся крови на месте недавних боёв.

Даже бабочки здесь порхали особенные – крупные, жирные, принадлежавшие семейству бражников. Бабочка такая под названием «мёртвая голова» – словно жуткое эхо из прошлого, где куражились дикие дивизии «СС», тоже, кстати, принадлежавшие к семейству бражников. Перед атакой эсесовцы шнапсом надирались до умопомрачения и готовы были парадным маршем топтать за Урал и дальше, в сибирские просторы, где затерялось сердцу милое село Солдатеича. Небольшое скромное селцо на высоком обском берегу.

Глава третья. Хрустальные горы

1

Матушка-Обь далеко растолкала свои берега в нижнем течении – ни конца, ни края глазами не поймает по весне. И не хотелось бы, чтоб кто-нибудь обиделся, и промолчать не хочется по поводу кипящей мелкоты и весело шумящей мелюзги всевозможных европейских рек и речушек, многие из которых можно пешком перейти. «Разливы рек её, подобные морям» – этот поэтический размах, не в качестве гиперболы, а в качестве обыденной реальности применим только для сибирского раздолья, для сибирских неуёмных рек, обладающих бунтарским характером, в половодье способных разгуляться на километры, пластая голубую рубаху на груди и сокрушая всё, что под руку подвернётся.

Вот куда стремился Стародубцев. Истосковалась душа по родным берегам, изболелась.

На родину приехал он в конце зимы. Погодка уже развесенилась. Солнышко всё чаще в гости заворачивало. Тёплый ветер заглядывал с юга, свистел под окном наподобие друга. Небеса по-над рекой нежно и свежо обголубели. Затравенели поля, обставленные свечками берёз, блистательно белеющих на фоне чернозёма. Подснежники под берёзами раскрывали глаза – синие или червонные, белые, чайно-лимонные. Из-под снежной скорлупы, словно цыплята, проклёвывались лохматые цветочки мать-и-мачехи. Медунница воздух мёдом насыщала, пчёлку привечала. Тонкими живыми фитильками разгорался весенний горицвет – или адонис, или купавка, или стародубка; как тебе нравится, так и зови. Сосновый бор темнеет за рекой, хвойной гребёнкой чешет облака, седыми гривами склонившиеся в заречных далях.

Всё хорошо, всё прекрасно – только это не главное. Хрустальные горы манили его – ледоход, ледозвон, реколом, вот что хотелось ему посмотреть.

Сколько раз он в детстве коченел на этой крутоярине, сколько раз он вприщурку глядел, несказанно волнуясь, наглядеться не мог на это грандиозное «ледовое побоище» – так ледоходы величал покойный батя, Солдатеи Иванович, большой знаток реки, изучивший характер Оби от самого истока, от острова Иконникова. Где-то там, рассказывал отец, Бия и Катунь схлестнулись буйными потоками, расцеловались и так обнялись, как только баба с мужиком во время жаркой страсти. И породили они вот эту Красавицу-Обь, синеглазую дочь, из дому убегающую прочь – в объятия Ледовитого океана, хладнокровного хулигана.

Солдатеи Иванович, отец, всё детство колобродил по берегам Оби – в серединном течении. А уж потом, когда усами обзавёлся, пошёл в понизовье. Там поставил дом на крутовине. А заодно и Стёпку-шалопаю строгагал из бревна, оставшегося от постройки дома. Так батя зубоскалил. Шутник он был отменный, выкомуривал, где надо и не надо. Запомнились вот эти мамкины слова: «Ещё петух в сарайке не кукует, а папка твой уже не спит, шуткует!»

Говорят, он парнишку едва не угробил – крестить вознамерился в ледовитой купели. А на дворе уже была весна, лёд кругом попискивал синицами, трещал сороками, готовый проломиться. Но Солдатеи Иваныч как упёрся – не переспоришь и колуном с дороги не свернёшь. Айда на лёд и всё. Давай хоть пригоршней воды, но сполоснём дитёнка. И хорошо, что рядом оказался человек, который вызвался быть крёстным – его потом попом прозвали.

«Ежли бы ни этот поп, Стёпка точно бы утоп!» – такая частушка по селу пошла гулять после того крещения на весеннем льду, трещащем на все лады и разъезжавшимся на все четыре стороны.

Может быть, тогда и зародилась в душе мальчонки непобедимая охота смотреть на ледоломы – грандиозное «ледовое побоище», прекрасное и жуткое одновременно.

В апреле, когда солнце начинало к снегам подлизываться, когда приближался календарный Родион-ледолом, парнишка был уже настороже, на стрёме – шараборился по берегу, приглядывался. Где Кулики-прибрежники? Прилетели? Молодцы. А трясогузка? Вот она, трясёт своею гузкой. Значит, скоро стремнина стронется. Да только вот когда она пойдёт? Никто не знает.

По ночам не мог заснуть, ворочался, будто хлебных крошек насыпали на простыню. Забудется под утро и подскочит, как только мамка на кухне стеклянной посудой зазвякает.

– А? Что? Уже?

Мать подойдёт, обнимет.

– Спи, родимец. Нет ещё ледолома. Ночью было стужево. Солдатей Иванович, проворно уминая завтрак, замечал: – Ты бы в школу подскакивал так. Словно шило в зад. Ворчал он для порядку. Ему и самому хотелось поскорее повстречать и проводить ледоход, после которого затевалась вешняя азартная рыбалка – щука, окунь, муксун, налим и стерлядь, за долгую зиму насидевшиеся подо льдом, напрочь забывали осторожничать.

Стёпка в школу приходил, но разве ему было до уроков – поминутно глазел в окошко, где виднелся белый каравай реки. И дома он уже уроки делал абы как – прислушивался к тишине за стеной. И спал опять-таки настороженно, чутко – как воробей на зерне; проснётся, глазёнками клонет в окошко и вновь закимарит. Он словно бы собственной шкурой обострённо чувствовал ледяную шкуру вспученной реки, находящейся под крутояром. Ждал, томился горячей натурой. И так бывало иногда, что перегорал, уставал дожидаться – просыпал начало ледового побоища. Но это было редко. Чаще всего он угадывал сердцем – не ухом, а сердцем – слышал, как под берегом в ночи, под ясными крупнозернистыми звёздами вдруг начинала приглушённо ухать пушка ледолома.

Волнуясь, он частенько выскакивал из дому «в телогрейке на босу ногу» – хотелось быть первым на берегу. А что уж там такого – первым быть? Это ж не Америку открыть. И тем не менее, как будто занимали очередь за хлебом. За белыми сдобными булками, которые с грохотом начинали неуклюже двигаться вниз по реке, словно только что вынутые из красного зева огромной печи – восход разгорался, трещал и постреливал, точно пламя в поднебесной топке набирало силу, ширилось от берега до берега, багрецом и позолотой поджигало облака, дровья обряжало будто бы осеннею листвою. Воздух над рекою колыхался незримым студнем, свежим огурцом пахивал, мокрой марлей к лицу прилипал. А по ушам пиликало, точно пилило ледяной пилой, из-под которой брызгали белые опилки – длинный, протяжный, нескончаемый шорох, скрипение, скрежетание и скорготание, короткие всхлипы воды, вырывающейся на волю. А иногда вспыхивал вдруг неожиданный крик – словно бы детский, режущий по сердцу крик заполошного зайца, сдуру заскочившего на льдины.

– Зайцем решил прокатиться, – гомонили в толпе. – Помочь? А как поможешь? Самого сломает, в порошок разотрёт.

Даже медведя иногда можно было видеть. – А этот как сюда попал? Во, дурак!

– Шатун. Или берлога близко от воды. Испугался шуму, спросонья сиганул на лёд.

Обезумевший медведь, вставая на дыбы, ревел как пароходный гудок, порождающий эхо в синевато-сизой предрассветной дали, ревел на льдинах и уплывал за тёмную излучину, и оставалось только верить и надеяться, что этот «пароход» где-нибудь всё же приткнётся к берегу. Но большинство уже забыло про медведя – не до него.

Народ на берегу в разноголосицу и вразнобой обсуждал свои насущные проблемы.

– А я говорю, если тронется в среду – рыбы много будет, а ежли в пятницу – безрыбный год.

– А прошлой-то весной было как? Стронулась она как раз на пятницу. И ничего, Бог миловал. И осетра, и стерлядку, и муксуна, и тайменя таскали так, что руки едва не отвалились. Мужики тут были работающие, сплошные гомоюны – и по хозяйской части от души старались,

и по семейной. Солдате́й Иванович крепкими локтями, как железными шатунами, раздвигая кучу балаболов, кое-как разыскивал парнишку в толпе зевак.

– Ступай домой, чертёнок, оболокайся, а то простынешь, – приказывал отец. – Да школу-то, гляди, не проворонь.

Клацая зубами, точно дробя кедровые орешки, Степаха какое-то время ещё истуканом стоял на берегу, глазами выхватывал то одну, то другую картину ледового побоища, а потом, уже почти без сожаления, уходил восвояси.

Первые минуты ледолома казались ему – да и не только ему – очень важными. И если ты их не проспал, укараулил – ты сам собой доволен и другие сверстники смотрят на тебя, как на человека, сумевшего увидеть нечто такое, что для них пока что недоступно. А дальше – совсем уже, не интересно и даже буднично. Ледяные караваны могут тянуться всю неделю, если не дольше. И все, кому не лень, могут придти на берег и ротозейничать, лузгая семечки, смоля папиросы. Могут лениво глазеть и глазеть, как бунтующая река вырывается на волю-вольную – вспухает буграми, рычит, фырчит, грозит, но вскоре затихает, растрясая крыги по берегам. И не сегодня-завтра зеленоватые и аквамаариновые льдины, зацелованные солнцем, разнежатся до слёз, расплачутся, прощаясь с белым светом.

2

Жалко было покидать родимый край. Всю ночь перед отъездом не спалось. Он раззолотил костер на крутояром обском берегу. Сидел, вспоминал. Много чего приходило на память. Изумрудные покосы за рекою, – в ошеломительном разгаре лета. Осенние краснопожарища, широко и шумно бушующие в пойме, где полно осинника. Зверолютый морозьяка вспоминался – птаху сшибал на лету. Но больше всего – это, конечно, весна, ледозвоны, когда он в «телогрейке на босу ногу» выбегал на этот крутояр.

Контуженая память Стародубцева хромала, но то, что касалось детства – всё было в целостности и в сохранности. Помнились многие мелочи – до росинки на первом цветке, до первой, тихохонько треснувшей почки, выпускающей на волю изумрудное крыло клейкого листа. Весенние приметы вспоминались. Считалось, например, что если на реке лёд громоздится грудками – значит, будут груды хлеба. Вспоминался вешний денёк под названием «Степан-ранопашец». В этот день, на излёте апреля, когда воздух буянил настоем берёзовых соков, благоухом первоцветов и первотравья, Степан-ранопашец будто бы ходит по лугам и полям, проверяет – хорошо ли земелька оттаяла, не пора ли пахать?

«Так, может, не случайно я – Степан? И не случайно пахарем заделался? – гадал Стародубцев. – А хотел пойти в учителя. Даже бегал по льдинам за реку, в библиотеку. Однажды чуть не утонул по дурусти».

Родина манила, сердце грела, и опять он думал, как хорошо бы сюда перебраться. Главное, жену уговорить. Да только вряд ли. Долю невозможно оторвать от пуповины родной земли – от старгородской области. А без неё, без Доли, он уже своей доли земной не представлял. Никого из родных у него уже не осталось на этой земле. Свою одинокость, чтобы не сказать осиротелость, Степан Солдатеич особенно жарко осознал в родных краях, когда побывал на могилах отца и матери.

Солдате́й Иваныч упокоился ещё до войны – бревном перешибло на сплаве. Полмесяца промаялся в больничке и сказал, что пора ему «вниз по течению» – это его последние слова, спокойные и твёрдые слова человека, родившегося на реке и на всю жизнь привязанного к ней. А мать уже после войны скончалась, надорвавшись на бесконечной каторге под лозунгом «Всё для фронта, все для Победы». Мать не дождалась его совсем немного – земля на могилке ещё травую даже не опушила, никаким цветочком не обзавелась. Стародубцев побродил тогда по

милым берегам, хотел представить, как он останется тут жить – один, без Доли. Хотел представить – и не мог.

Последняя ночь побледнела – распахнулись родные просторы. И взгляд его стал утекать по реке – всё дальше и дальше. И вот уже он видел совсем невидимое – так ему казалось. Он видел кондовое, от непогоды и времени потемневшее божелесье – приют старообрядцев. Видел трёх могучих краснощёких братьев, словно трёх богатырей в домотканых чёрных косоворотках. Каждый из этих парней – хоть с ружьём, хоть с голыми руками – смело ходил на медведя. Но идти на войну в сорок первом они отказались – вера не позволяет. Рыжебородых здоровяков силком хотели взять на притужальник, да только где там – из божелесья они сбежали в такую глушь, в такое чертолесье, куда при хорошей летней погоде и зверь не сунется, и пчела за медоносом не залетит, а зимою там до бровей поднимается «мягкая рухлядь» непролазных снегов.

Интересно было бы теперь бородатых братьев повстречать, в глаза им посмотреть, спросить, как они поживают, не мучит ли их совесть за то, что другие пошли под пули? Но спросить, похоже, некого уже. Старики в деревне сказали Солдатеичу, будто все три брата друг за дружкой полегли под могучими своими восьмиконечными крестами – только такие кресты признавали поборники старой веры. Такие кресты охотники встречали в глухоманной тайге. Старики, суеверно крестясь, говорили, что трёх бородачей покарала природа-матушка. Одного придавило лесиной во время шального бурелома. Второго молния ужалила во время ливня. А третий ухнул в ледяную полыню, шагая по стеклянному стрежню, ещё не окрепшему. Откуда это было известно старикам? Кресты – крестами, да только мало ли кто там лежит. И всё же Стародубцев почему-то верил старикам. «Мы думаем, что Бог видит нас сверху, а Он видит нас изнутри! – говорили ему старики. – Не захотели эти рыжебородые защищать Расею, вот Господь и прибрал...»

Может быть, и так. А может быть, и нет.

Солнце, прожигая шерстину серых туч и облаков, подрастало над тайгой, стаскивало драные тени с перевалов. Солнечным золотом дрожал упругий стрежень. Самородками в грязи вспыхивали старицы, протоки, мочажины.

Становилось ещё светлей и задумчивый взгляд Солдатеича утекать по реке ещё дальше – туда, где вздымается крутолобый берег Иртыша, самого главного притока Оби. Где-то там во времена теперь уже былинные красовалось Кучумово городище, город Искер, столица Сибирского ханства, всесильного и всемогущего. Именно туда, на крутолобый берег Иртыша, нагрянула дружина казаков – отчаянно-разгульная ватага Ермака. Именно там раздались воинственные клики: «Господи! Помози рабам твоим!» И загремело огнестрельное русское оружие, зазвенели сабли ермаковцев. И закипела вода под берегом, обагрываясь кровью казачьей и татарской, обжигаясь калёными пулями и свистящими стрелами.

И там, среди могучих казаков, был тот, который звался – Стародуб. Человек волевой, непреклонный. Глаза у него полыхали, как выстрел. Чёрный куст бородачи лежал на груди. Золотой полумесяц казацкой серьги в правом ухе горел. Хмуробровье буйно срослось на переносице. Жилистый кулак его – одним ударом в лоб – запросто мог жеребца ухайдакать.

После покорения Сибири и после многих других боевых приключений этот забубённый Стародуб остепенился и где-то на просторном светлом берегу или в тёмной тайге забабахал домину, женился, детей настрогал из какого-то старого дуба – и пошло по земле Стародубцево племя.

Так оно было, нет ли – никто теперь точно не скажет. Но, в общем и целом, – примерно так. Казачий крепкий корень, казачью кровь – это Солдатеич невольно ощущал в своей судьбе. Казачья кровь была в нём как золотые угли, которые тихо-мирно мерцают и теплятся до поры, до времени. А как только ветер чуточек всполохнётся – опасность придёт и отвагу востребует –

золотое пламя однамахом встанет на дыбы, опаливая все тело, всю душу, призывая к бою, к защите рубежей.

3

Вернувшись в Миролюбиху, он продолжал тосковать по сибирским просторам, по широкому и звонкому разгулу ледоходов, похожих на ледовое побоище. И вдруг однажды в голову пришло – на Чудское озеро засобирался.

Когда погода мало-мало развесеннилась, Гомоюн приехал на тот берег, где случилось когда-то настоящее, в историю вошедшее ледовое побоище.

Побродив по берегу, он заприметил пёстро одетую кучку людей с фотоаппаратами наизготовку – городская экскурсия. Стародубцев незаметно пристроился к этим весёлым, беззаботным ротозеям, стал внимательно слушать какого-то очкастого и довольно-таки языкастого эрудита:

– Битва здесь произошла 5 апреля 1242 года между старгородцами и владимирцами под предводительством Александра Невского с одной стороны, и войском Ливонского ордена с другой...

– Погоди, мне что-то невдомёк, – смущённо признавался Гомоюн. – Это что же выходит? Русские люди между собою, что ли, тут мордовались? Ты говоришь: старгородцы и эти, владимирки, или как их?

Молодой эрудит улыбнулся. Поправил очки.

– Русь была тогда поделена на удельные княжества. Владимирцы – это Северо-Восточная Русь. Территория Великого княжества Владимирского.

– Ну? – Солдатеич не мог осмыслить. – Так они между собою бились? Или как тут всё произошло?

Не зная, как лучше – покороче и вразумительней – ответить, паренёк сказал то, что обычно говорит в конце экскурсии:

– 18 апреля – День воинской славы России. День победы русских воинов над немецкими рыцарями.

– Ага, теперь понятно, – отходя от очкарика, пробормотал Стародубцев. – А то всех в одну кучу свалил.

В тот день он долго, медленно и вдумчиво прохаживался по берегу Чудского озера. Заострившимся взором вприщурку смотрел на Вороний камень, остров, напротив которого на юго-восточном берегу Александр Невский расположил когда-то русскую рать. Низкие тучи косматым нахрапом плыли по-над озером, словно бы скрывая картину бывшей битвы – боевой порядок крестоносцев, именуемый клином или «великой свиньёй». Деревья, точно древние хоругви, трепетали за спиной на берегу. Стародубцев нервно курил и думал: «И тогда, в 1240 году, немецкие рыцари, сволочи, зарились на русскую землю, и в 1941 опять! И тогда этим рыцарям надавали по рылу, и теперь накостиляли, будь здоров. А им, заразам, всё никак неймётся. Всё прут и прут великою свиньёй. Да это что ж такое? Что за свинство?»

Отвлекаясь от печальной философии, Гомоюн переключался на географию. Размеры Чудского озера не особо впечатляли сибиряка, в детстве побывавшего в районе Обской губы.

– Там даже в бинокль не ухватишь берега, – запросто сказал он рыбаку, точно давнему знакомцу, скупавшему над поплавами. – А здесь? Мелкота.

– А чего ты, дядя, свою губу скривил, будто Обскую? – Рыбак развёл руками. – Глянь-ка, тут с юга на север – больше семидесяти километров. А с запада на восток – почти пятьдесят. И тебе всё мало?

– А вот поехали на родину ко мне, тогда узнаешь. Добродушный рыбак засмеялся.

– У вас там квас, наверно, течёт, а не вода. – Это почему же?

– Квасные патриоты в таких местах рождаются. Солдатеич не понял. Плечами пожал.
– Лови бычка в томате, – на прощание сказал, кивая на поплавок, дремлющий на водяном одеяле. – Тайменя-то, наверно, в глаза ещё не видел. Только в сказках, да?

4

Время шло, он потихоньку, полегоньку стал забывать родные раздолья. Сибирские пейзажи размывались в памяти. И что совсем уж горько – и одновременно смешно – то, что здешние реки весной для него становились вроде как подобные морям.

«Господи, прости! Какое море? – усмехался Гомоюн за рычагами трактора. – Это же корыто для белья, в которое случайно занырнули три-четыре карася и две с половиною щуки». Иногда, выводя борозду к пологому берегу здешней реки, пахарь устраивал короткий перекур. Прохаживаясь между кустами, между деревьями, он машинально выискивал какую-то волшебную траву, помогающую от бесплодия – эта мысль не давала покоя.

Опускаясь на тёплый камень, обласканный солнцем, пахарь сутуло сидел возле воды, всегда умеющей как-то незаметно убаюкать любую печаль, отвлечь от грусти, от суеты.

Здешняя река была, в общем-то, пригожая, родники в ней жили, не тужили, чистую душу хранили. Сбросивши последнюю коросту льда, река, играя солнечной улыбкой, неспешно протекала вдоль соснового бора, иногда задумчиво петляя между крепким древостоем, выходя к синеватым травокосным лугам и широко расхлёстываясь там и тут – притоки и старицы богаты были рыбой, которая стадами паслась у берега.

Родившийся на могучей реке, Солдатеич был заядлым рыбаком. Батя, помнится, говорил про себя: «Это не поплавочек дрожит на воде, это моя рыбацкая душа во мне трясётся!» Вот так и сын когда-то азартным трясом тряся, как липка на ветру. Часами и даже целыми днями, как заколдованный, с удочкой стоял на берегу или с бреднем шарашился по мелководью. Но война отбила эту страсть. Каждая река теперь воспринималась как «водная преграда» или «водный бастион»; невольно вспоминались переправы через Неман, через Одер, переправы через десятки и сотни безымянных рек и речушек, сулящих не только неприятности, но и гибель. А самое главное – он теперь даже на рыбу не мог смотреть не скоротрившись. Случилось это после того, как на фронте пошёл порыбачить – неподалёку от передовой. Затишье было. Война войною, а обед по расписанию – это про немцев, прежде всего. Русский солдат перетопчется, а солдаты Вермахта станут бунтовать и требовать кулинарию бургера, всегда отличавшуюся большими порциями. Ну, в общем, Степан вознамерился порыбалить. Стал местечко выбирать, приглядывать. Да только где там выберешь? После недавней бомбёжки весь берег, провонявший тротилом и гарью, был исковеркан, издырявлен воронками – и советская и немецкая авиация постарались так, что кустика живого не найти. Но рыбак, если он настоящий, всегда надыбает пригожее местечко. И Стародубцев надыбал. И за каких-то полчаса надёргал штук пятнадцать речных поросят – все пузатые, жирные, как на подбор, и только что не хрюкают, лениво извиваясь под сапогами. Степан возрадовался – во жратовка будет. А когда принёс и начал потрошить – волосы дыбом вскочили, помятую пилотку вздыбили.

– Ох, мать моя родина, – пробормотал Степан, роняя нож. Старшина Рукосталь подошёл. Не брезгливый окопник, даже он скоросрылился.

– Ты кого притащил, Гомоюн?

Улов оказался кошмарным. После бомбёжки не только берег был перепахан – вода в реке напоминала кашу, начинённую солдатским мясом, которого «речные поросята» нажрались до отвала. В рыбьей требухе встречались палыцы, уши. Вспомнить тошнѣхонько.

Стародубцев с той поры невзлюбил рыбалку. Жена это знала. И вдруг заприметила: её благоверный рыболовными снастями стал разживаться. Как это понять? Горькая память войны от него отступала? Ну, если так – хорошо, слава Богу.

Глава четвёртая. Зелье приворотное

1

Весенняя работа полным ходом шла и вдруг на тебе – в горячий полдень у реки произошла досадная спотычка.

Трактор наскочил на пенёк – серебром сверкающая гусеница брякнулась в пахоту. Пришлось повозиться, но дело привычное для Стародубцева – полвойны прошуровал на танке. Там, бывало, под обстрелом приходилось срочно ремонтировать: стучи, клепай, а сам не забывай по сторонам позыркивать – как бы тебе самому котелок не заклепали свинцовой заклёпкой.

Он гимнастёрку скинул на траву и начал вынимать необходимый инструментарий – ключи, молоток, плоскозубцы, отвёртку.

И вдруг откуда-то из-за деревьев заяц выкатился – промелькнул по берегу и растворился, шуруша прошлогодними жестянками листьев.

Стародубцев насторожился – шаги за деревьями захрустели, ломая сучья.

Женщина в крестьянском наряде замаячила на пригорке. – Забуксовал? – поинтересовалась грубоватым голосом. – Разулся! – ответил пахарь. – Трактору охота босиком побегать по траве!

Поправляя берестяной квадратный короб за спиною, молодая баба сошла с пригорка – красные и голубые цветы под башмаками гасли, рассыпая, точно искры, лепестки.

– Помочь? – кокетливо спросила. – Али как?

Мельком посмотрев на женщину, Стародубцев шмыгнул носом, на кончике которого темнело мазутное пятнышко, будто родимое.

– Помочь это, тетя, неплохо бы. – Он глазами показал на гусеницу, похожую на слиток серебра, сияющего под солнцем. – Эти железные лапти одному обувать несподручно. А ты чего тут бродишь? Грибочков ещё нету. Или травница?

– Марфута-Переправница, – складно ответила женщина, опуская на землю берестяную торбу. – Я тут на реке живу, неподалёку.

Забыв о ремонте, пахарь засмотрелся на Марфуту – сдобную, грудастую. И хотя смотрел недолго – кровь шибанула в голову.

Смутившись, пахарь начал со всего плеча наяривать молотком – гусеница прыгала и огрызалась искрами, и звоны-перезвоны так задорно стали раздаваться в лесочке, словно второй молоток, заблудившийся, ответно аукался.

– А ну-ка, – попросил он, – держи вот здесь. Оказавшись рядом, Марфута ещё сильнее смутила, опалая дыханием, хмелящим ароматом леса, цветов и разнотравья. Набивая железные «пальцы» на траки, а затем привычно проверяя натяжение, Стародубцев старался не смотреть на неё. – Удивляюсь делу рук человеческих, – говорил он, вытирая дробины пота. – Вот эта машина, в которой семь тонн, может пройти по такому болоту, где человек не пройдёт.

– Врёшь, поди. – Марфута-Переправница загорелась угольками чёрных глаз. – А ежели взаправду, так прокати меня до переправы – прямо по болоту с ветерком. А то мне топать далеко – окольными путями.

Пахарь помолчал, натягивая тесную кожу гимнастёрки; на фронте был худой, а тут поправился.

– Ладно, тетя. Ты мне помогла, так я теперь должник. Садись. Держись покрепче. – Он усмехнулся, глядя на объёмистую грудь. – Не боишься растрясти арбузы астраханские?

Марфута взгляд перехватила, поняла намёк.

– Мы не из робких. – Она двумя руками поправили арбузы, едва не разрывающие кофту, и неожиданно скомандовала: – Вперед, вояка!

Маршрут, конечно, выбрал он рискованный – шуранул по болоту, как на фронте когда-то шуровал на танке, выходя на огневой рубеж. От яркого солнца блестящая грязь перед кабиной летела шматками и ключьями. Мокрая тина вздымалась, разрубленный камыш, измоленный рогоз. Покрывало зелёной ряски наматывалось на гусеницы, заставляя их затихориться – словно бы остановиться. На лобовое стекло налипал коварный телорез – длинные узкие листья, похожие на пилу. Утки врассыпную разлетались, вытягивая шеи с клювами, похожими на стрелы с наконечниками из янтаря. Лупоглазые лягушки с болотных кочек обалдело шарахались по сторонам. «Как на войне!» – мелькнуло в голове и на минуту вдруг померещилось: кругом кипит такой кошмарный бой, в котором и земля, и вода – всё поднимается на дыбы. В таком бою с невероятной лёгкостью в небеса улетают вековые деревья, кусты, клочки земли катаются верхом на облаках. В таком бою, в таком аду крошечном в тебе душа от страха сначала съжигается, а потом неожиданно вспыхнет невероятным восторгом, который только перед гибелью можно испытать.

Прострочив по болотине и запоздало осознавая, насколько это опасно – можно было запросто трактор ухайдакать – Гомоюн повеселел. У переправы резко дал по тормозам. Спрыгнув с подножки, первым делом посмотрел на отремонтированную гусеницу.

– Ну, вот, – подытожил, довольный, – а ты боялась. – Ой, глупая баба. Ой, даже и не знаю, как тебя, миленький, благодарить. Может, моего чайку отведаешь? На травах. Только чаёк у меня не простой. Приворотный.

– Приворотный – это чай, который при воротах пьют? А подзаборный – тот, который под забором? – пошутовал Гомоюн.

– Зачем же под забором? Проходи в избу.

Он помолчал, оглядывая тихую и дивную округу. Жирное, сочное солнце зеркалило за тальниками в бобровой запруде, шаловливо сияло на стрежне, словно с боку на бок переплёскивалось. Почти под ногами шевелились головки цветов, отяжелённые гроздьями пчёл. Малиновые, кроваво-красные, желтые и оранжевые цветы, среди которых были шалфей и водосборы, медуница, клевер, донник и стародубка – цветы эти пружинисто приподнимались, когда пчёлы, облепленные медовой пылью, гулко возгудая, тяжело взлетали над поляной, окутанной духом молодого лета. Под берегом стоял паром, побитый золотухой столетней ржавчины. Рядом старая большая плоскодонка – завозня, как зовут их здесь, лодка, на которой завозят людей и грузы; хотя в Сибири слово завозня означает совсем другое – помещение, где хранятся телеги, хомуты и всё такое прочее. Страна огромная – поэтому такой большой разброс фольклора.

Согласившись попить «приворотного зелья», Гомоюн пошёл по тропке. Следом за Марфутой шёл, смотрел на широкую спину её, на толстый зад, куда на несколько секунд присела бабочка, похожая на цветок.

«Хорошая бабочка, аппетитная! – мелькнуло в мозгу. – Холостячка она, разведёнка или вдовушка?»

На поляне стоял покосившийся домик об одном окошке. Потемневшие берёзовые прясла подпоясали огород. Невод сушился на прясле, а под навесом мерцала, как боевая кольчуга, мелкая сеть, в которой запутались ключья бородатой, уже высохшей тины. Красноталовая морда – мерега или верша – недавно сплетённая, мерцала прутьями, словно бы раскалёнными, только что вынутыми из кузнечного горна. Десятка полтора мелкой рыбёшки – окунь, плотва и судак – сушилось под марлей от мух. Кривая тропинка сухим хвостом виляла за кусты смородины и уходила на тесовый, дыроватый сеновал, на котором колдовскими космами развешаны разнообразные травы и корни.

Марфута-Переpravница поселилась тут после войны. Прибежала неизвестно откуда, так говорили про неё, потому что беженка. Крепкотелая, высокорослая, «рожалая» баба – двоих родила, только померли от скарлатины.

И вдруг из дома вышел какой-то древний дед. Посмотрел из-под руки. Покашлял.

– Ну, ладно, – с сожалением сказал Гомоюн, – в другой раз побалуюсь чайком.

Уходя, он оглянулся и подумал, что этот бородатый старикан в косоворотке с длинным подолом и пояском напоминает колоритного старообрядца, одного из тех, кто жил когда-то в далёком и глубоком сибирском боголесье на берегах Оби.

2

Под вечер он трактор поставил на широком дворе МТС и потопал домой, вспоминая Марфуту-Переpravницу и отгоняя от себя греховные мысли. Он даже руками размахивал вокруг головы, будто воюя с комарами и мошкаррой. Но греховные мысли опять и опять прилетали, сладковато кусались, назойливо звенели в мозгах.

Сокращая дорогу, Солдатеич двинулся по кромке поля, недавно распаханного. Хорошо кругом было – не наглядеться. Ароматный, свежий дух распашки волновал. Весенний благодух травы, цветов. Хорошо. И всё-таки тревожно. И даже непонятно, почему.

Остановившись, Стародубцев закурил. Посмотрел в небеса. На западном склоне уже догорали остатки желтовато-красного заката – солносад придавливало тучами. А на восточной стороне ещё виднелись голубые не закрывшиеся окна. И во мгле проступали ещё тонконогие березняки на дальнем краю чернозёмного поля, над которым кружилась какая-то птица. Может, орёл-могильник, может, коршун-куроцап. Но Солдатеичу вдруг показалось, что это проклятая «рама» летает – фоторазведчик, «Фокке-Вульф».

И совсем уж ему стало не по себе, когда кусты неподалёку зашевелились и затрещали.

Фигура мужика в дождевике – будто привидение – возникла.

– Что ты бродишь всю ночь одиноко? Что ты девушкам спать не даёшь? – угрюмо спросил мужик, бесцеремонно застёгивая ширинку и добавляя весёлым голосом: – Ну, здорово, Гомоюн. Чуть на задницу не наступил.

Стародубцев от неожиданности даже папиросу выронил. – А ты чего здесь окопался? Ночевать, что ли, негде? – Тихо! – Бригадир наклонился и прошептал: – Я тут не один. У меня горизонталка под кустом. Солдатеич присвистнул.

– Ну, ты даёшь!

– Это не я даю – это она. – Купидоныч хихикнул. – Отваливай, потом поговорим.

Добираясь до дому, Гомоюн изумлённо качал головой и думал: Бог шельму метит.

Неспроста и не случайно Святослав Капитоныч на фронте стал «Купидоныч», как будто роднёю заделался древнеримскому мифологическому Купидону, божеству любви, который горячими стрелами обжигает сердца людей. Правда, Рукосталь стрелял отлично, несмотря на то, что половину указательного пальца оттяпали на правой руке. Только дело всё же не в стрельбе. Он был ходок от природы, ходок по холостячкам, разведёнкам, вдовам или брошенкам. «Горизонталки» – так он называл всех баб, легко принимающих горизонтальное положение.

В мирной жизни сделавшись строгим бригадиром, бывший старшина, запрягая свой «русский вилиис» – так называл он лошадёнку с таратайкой – через день да каждый день объезжал свою «прифронтовую полосу»: Сенокосное, Ягодное, Сухое Зерновое и другие селения. А там – куда ни плюнь – вдова грустит, тоскует молодая разведёнка, кровь с молоком. Мужиков-то мало, побили на войне. А женская природа не только что просит, но даже и требует – вынь да положь. Вот и приходилось бригадиру вынимать «золотую стрелу купидона». Мужик неутомимый, здоровила, какие поискать, – на всех любви и ласки хватит вдоволь.

Однажды Солдатеич полушутя, полусерьёзно сказал: – Ох, ты и жадный до бабьего мяса. Бывший старшина тогда сидел за рюмкой водки – разоткровенничался:

– Лично мне так много баб не надо. Но я как только вспомню Васю Вологодского, Ивана Черемных, Серёгу Фомина. Да разве можно всех перечислить. Вологодский перед смертью уже белый, уже отходит... И вдруг приподнимается и говорит... Ты, дескать, Купидоныч, если жив останешься, так ты, мол, постарайся не тока за себя, но и за нас, когда будешь с бабой это самое... Ну, вот я и стараюсь. А так-то я не жадный.

Может, он оправдывал разгульную натуру, а может, и в самом деле исполнял наказания тех бойцов, которые из жизни ушли «не долюбив, не докурив последней папиросы», как сказал поэт. Так или иначе, только он старался чуть ли не за целый взвод – за сорок, сорок пять гвардейцев, полных силы и огня. Да так старался, что порою даже умудрялся лишку прихватить – замужнюю какую-нибудь сдобную бабёнку прижимал средь белого дня в перелеске или где-нибудь в густых, васильками пересыпанных колосьях.

Эту странную жадность до бабьего мяса Стародубцев не понимал и понемногу начинал досадовать на фронтового друга.

«Куда ты порох тратишь?! – думал Солдатеич. – А если вдруг завтра война?»

Но больше того Стародубцев досадовал и даже злился на бывшего старшину вот по какой причине.

Рукосталь – хороший когда-то, бесстрашный боец – постепенно превращался в обыкновенного сельского мужика, в такую размазню, из которой трудно будет вылепить настоящего русского воина. И доказательством этому служил тот печальный факт, который Купидоныч сам продемонстрировал, нисколько не стесняясь.

Каждый день на своей таратайке объезжая окрестные деревеньки, новоиспечённый бригадир иногда натыкался на оружие на полях стародавних боев. И однажды попался ему пулемёт, вполне ещё приличный. Бригадир отмыл его от грязи, очистил от ржавчины и решил приспособить под мирную, весёлую жизнь. Купидоныч был далёк от смекалки русского гения Кулибина, только всё же хватило ума сотворить из пулемёта самогонный аппарат: к водяному охлаждению смертоносного агрегата он приспособил эмалированную кастрюлю и что-то там ещё присочинил. И пулемёт, в конце концов, стал потихонечку стрелять сырыми пулями – капля за каплей падала, наполняя стеклянную тару. А потом наполнялись стаканы, и душа наполнялась весельем.

И вот этот пулемёт, поставленный в амбаре, бывший старшина продемонстрировал Солдатеичу, как достижение своей гениальной смекалки.

И после этого Стародубцев, оскорблённый в самых лучших своих чувствах, с полгода, наверное, стороной обходил дом фронтового друга – не хотелось ни видеть, ни разговаривать с человеком, похожим на предателя Отечества.

3

Интерес к рыбалке с каждым днём становился всё больше. В доме появились поплавки и удочки. «Табакерка» с червями наготове стояла в сенях.

Добросовестно отпахавшись под вечер, Гомоюн загонял свой трактор куда-нибудь в чащобу, подальше от глаз. Доставал из заглашника водку, удилище бросал на плечо – и по краю болота, по кочкам, резиново пляшущим под сапогами, по сырой луговине, широким шагом шуровал на переправу.

И покуда он шагал – смелость города брала. А как только оказывался на пороге избы – робел, телёнком делался и почти враждебно смотрел на старика: вот кто мешал ему.

Старик этот был – дед Марфуты, дед Кикима. Плешивый, древний, он не помнил своих лет и сам себя именовал Тысячелетником. И судя по тому, каким старинным языком он выражался – это было очень близко к истине.

Жилище своё дед называл не совсем теперь приятным словечком – «кубло». Деревянный ящичек – «досканец». Старый офицерский китель, давно кем-то подаренный, засаленный, а вдобавок ещё и прожженный махоркой – это был не китель, а «доломан»; так называли когда-то гусарский мундир, расшитый густыми шнурами; даже вместо погон и эполет на доломане были наплечные шнуры. Драная шапка из серого зайца была у него – «ерихонка». Хотя на самом деле «ерихонка» – это что-то вроде шлема или даже стального наголовника воеводы. Керосиновая лампа у него – жирандоль. Хотя в действительности это большой и фигурный подсвечник для нескольких свеч.

Короче говоря, в лобастой голове Тысячелетника всё уже давненько перепуталось. Наивный как ребёнок, и такой же незлобивый и бесполезный, он постоянно под ногами путался. Но вот что странно. Замшелый как пенёк, этот дедуля, казалось, вот-вот на гнилушки развалится. Ан да нет. Тысячелетник был такой могучий насчёт выпивки – ну, просто ужас. После пол-литровки на двоих глаза у деда не косели, а молодели, задорно сверкая. Он, хорохорясь, поводя плечами, сбрасывал на койку свой затрапезный гусарский доломан и, чуть не протыкая пальцем потолок, провозглашал:

– А не послать ли нам гонца за бочкою винца!

Гомоюн, когда первый раз услышал, обалдело покачал головой.

– Мать моя родина! – захохотал. – И они хотели нас победить!

– Х-то? – вскидывая серую мочалку бороды, ерепенился дед. – Х-то на нас? На вятских.

– Кому ты нужен? Ложись, дедуля, мы укроем тебя доломаном, жирандоль погасим.

– А за шкаликом сгонять?

– Вот зашкалило тебя. Хрен уторкаешь.

– А ты привози не одну поллитровку, – простодушно подсказал Тысячелетник. – Ты раскошешься, не жадай.

– Я не жабую, дед. Я просто не знал твой аппетит. Стародубцев, глядя на него, всё никак не мог отделаться от ощущения, что этот старикан – из кержаков, ушедших когда-то в сибирское глухое боголесье. Хотя, какой там, к лешему, кержак? И водочку хлещет, и самокрутку смолит, и ядрёным словечком не брезгает.

– Дед, – напрямую спросил Гомоюн, – а ты в Сибири был? Жил на обском берегу?

– Где я тока не жил, – уклончиво ответил Тысячелетник. – И на Волге жил, и на Оби.

– И было у тебя три сына? Да?

– Трясина, трясина, – сказал старикан, рукою махнув на окно. – Тут надо тропку знать, а то трясина мигом тебя проглотит.

«Глухой? Или прикидывается?» – Гомоюн испытующе смотрел на него.

– А почему же ты от старой веры отказался? А? – Староверы? – Помолчав, Тысячелетник крепким ногтем щёлкнул по стакану. – Я безбожник. Я горбатый. Меня тока могила исправит. А вот ты ещё можешь исправиться. Тока не жадай.

– Договорились, – уходя, прошептал Гомоюн, – я не жабую, а ты мне не мешаешь.

И вот однажды тихим летним вечером, когда над рекой, над болотистой поймой черёмуховым цветом за клубились густые туманы, Гомоюн «исправился» – в сумке глухо побрякивали стеклянные снаряды с белыми боеголовками. Он молча, деловито сел за стол и набуровил полные стаканы. Дед Кикима от радости чуть не приплясывал – только уши ходором ходили, по щекам плескались как лопухи под ветром.

Стародубцев угощал его безжалостно, ожесточённо. «Как бы только не помер!» – мимоходом подумалось. И Марфуту он, конечно, угостил. И после этого поманил её на сеновал.

Бабёнка после рюмки раскраснелась, разохотилась, но всё ещё делала вид, что она – девушка строгая. Она даже частушку скороговоркой выдала, выходя во двор:

Тонкий месяц выгнул бровь
За рекою чистой,
Расскажи мне про любовь,
Мальчонка мой речистый!

– Расскажу! – пообещал «мальчонка», взволнованно сопя около лестницы на сеновал. – Полезай, чего стоишь?

Изображая скромницу, Марфута начала выкомуживать. – Ишь, какой... – Хохотнула. – Я полезу, ты будешь подглядывать.

– Да нужна ты мне.

– А не нужна, так зачем же позвал?

Он глаза опустил. Задышал тяжело, как в петле.

– Ну, чо ты растрещалась, как сорока на колу? Полезешь, нет?

– Подсоби маленько, так залезу. Подтолкни. Ой, щекотно! Наблюдая за ним, смутившимся не похуже ребёнка, Марфута-Переpravница поминутно похотывала без причины, и хохот её был похож на ржание молодой, застоявшейся лошади. На душном сеновале он бесперомонно и легко распряг белотелую кобылицу, пышущую здоровьем, – уложил на сухие ромашки, на бледно-розовые клевера. И хотел он уже расстегнуть солдатские брюки свои, но отчего-то вдруг замер, глядя в её чёрные глаза, жадно-похотливые и совершенно бесстыдные.

В вот это голое бесстыдство – или что-то другое? – поразило его. И совсем уж некстати припомнилась Доля, которая краснела и потела, когда он смотрел на неё, обнажённую в бане. Все деревенские – муж да жена одна сатана – постоянно в банях вместе мылись, а Доля не могла, стыдилась...

в так он стоял посреди сеновала, как дурень со ступой, а точнее сказать, – как дурак со своим чугунным пестиком в штанах. Стоял, с хрипотцою сопел от волнения, не моргая, пялился на прелесть белотелой кобылицы. Под крышей сеновала жалобно жужжала муха или пчела. Пылинки золотились, попадая в косую и тонкую стрелку закатного света. Какая-то птица неподалёку попискивала – в продолговатую щёлку была заметна буровато-жёлтая головка, горошина чёрного глаза поблёскивала.

– Ну? Ты чего? – Марфута вновь тихонько гоготнула, колыхая загорелым подбородком. – Ну, иди, хлебни ещё для храбрости.

Он торопливо спустился на грешную землю – ногу чуть не подвернул на лестнице. И вдруг почти под сапогами прошмыгнула крыса, противно пропищала, заставляя брезгливо отплюнуться и прошептать:

– Прости, господи!

Солдатеич никогда не отличался набожностью, но как всякий чуткий человек, он догадывался: понятие стыда восходит к Богу, а бесстыдство – привилегия дьявола. Вот почему он невольно шарахнулся от такой доступной Марфуты-Переpravницы. И дремучий старик – никакой не кержак – теперь представлялся ему едва ли не слугою дьявола, который мог подарить старику тысячелетнюю жизнь только для того, чтобы дьявольское дело процветало как можно дольше.

Передёрнув плечами, как на морозе, Стародубцев вошёл в избу, а там – мать моя родина! – чёрт косматый как будто сидит за столом, водку по стаканам разливают. А поскольку лапы нечистого дрожат – водка плещется мимо, ручейками растекаясь до порога.

– Что? Решил полы помыть? – сердито спросил Гомоюн. Косматый чёрт осклабился, изображая улыбку, посредине которой одиноко торчал невероятно крупный серый зуб, похожий на берёзовый сучок.

– А ты раскошешься, сгоняй на тот берег, – посоветовал чёрт. – Возьми ключи от лодки вон там, где жирандоль.

Вечер сгустился уже, в вышине пообсыпался крупными звёздами. Поспешно покидая переправу, Стародубцев едва не провалился в топучую болотину. В полумраке попёрся напропалую, где покороче, и по ротозейству ухнул в чарусу – вначале по колено, потом по пояс, потом по грудь. Рычал как зверь, барахтался, руки резал осокой – будто за ножи хватался. Жирную жижу хлебал, едва не давился лягушками, точно живыми галушками.

В темноте уже, как пьяный, шарашась по кустам, по буеракам, он кое-как дотелепался до избы. В окно постучал.

Жена включила свет в сенях, ступила на крылечко и попятилась...

– Батюшки! – Перекрестилась. – Это где тебя так угораздило?

– Черти попутали, – прошептал он грязными губами. – На войне уцелел, так теперь чуть не сгинул.

– А я ждала, ждала. Там, поди, банька остыла. – Ничего, я подкину дровец. Принеси бельишко, рукотёрник.

Неприятный сам себе, противный, он долго мылся в бане, брезгливо морщился.

Глава пятая. Нечаянная радость

1

Белая ночь разгорается майской порой и в июне колдует, нежным лебяжьим крылом достает до старгородских земель. Белая ночь на севере области приземляется как бы уже на излёте, только ведь и это хорошо – тихо и дивно цветут небеса призрачным цветом черёмухи, белоснежной яблоневого кипени. Белые ночи всегда волнуют сердце чем-то несказанным, внушают людям веру и надежду на то, что Божий свет непременно победит сатанинскую темень.

Стародубцеву такие ночи нравились – мог подолгу сидеть у окна, думать о чём-то, мечтать. А в тот далёкий вечер, когда он с переправы притащился едва живой, он даже не сразу спохватился. Что такое? Почему так темно? То ли опять к нему вернулась окопная болезнь – куриная слепота? То ли это темень за окном как-то связана с тем нехорошим, тёмным делом, которое Солдатеич едва не сотворил на переправе?

Доля Донатовна, безгрешное создание, вздыхая, сказала: – Гроза собирается.

– Ах, вот оно что, – пробормотал Солдатеич.

Темнота сгушалась. Темнота обдёргивала лебяжьи крылья нежной белой ночи. Небо тяжелело. Ветер в палисаднике пыльные листья шерстил. Потом за рекой заблестело кривым и широким сабельным блеском, и раздался приглушенный топот небесной конницы. На стеклине окна задрожала первая капелька, испугано бледнея в свете молний. Затем по чердаку законопатил дождь, пока ещё отвесный, редкий. Мелодичный перестук отдельных капель, нарастая, постепенно перешел в большую музыку ликующего ливня, громокипящего торжества, во время которого под сухою крышей дома так хорошо, уютно, умиротворённо.

Только этого умильного уюта супругам Стародубцевым хватило ненадолго. Для них, до ужаса навоевавшихся, никакая гроза никогда не будет наполнена лирическим звоном. Для них эти поднебесные огни и звуки похожи на атаку ночных бомбардировщиков, которые могли развешивать на небе рукотворные огни на парашютах, чтобы лучше видеть, где и что разбомбить.

И дождь уже по крыше лупцевал не мелкой дробью, а как будто шуровал шрапнелью...

И, слава Богу, что недолго всё это гремело и высверкивало. Умытая земля и небо вскоре затихли, задрёмывая. Туман сырую папиросу пытался раскурить за огородами – дымок пластался по низине, синеватыми клочками выползал наверх и пропадал, растереблённый ветром.

Стародубцевы не спали, слушая разрывы грозových орудий, наблюдая вспышки небесного огня, отражённо плавающего по стенам, ползающего по потолку.

И опять и опять Солдатеич ловил себя на чувстве, которое словами трудно обсказать. Это было чувство благодарности то ли Господу Богу, то ли судьбе. Впервые он это испытал однажды перед боем. Тогда он крепко сдрейфил – всё нутро как будто инеем покрылось. Ему даже хотелось хвореньким прикинуться – увильнуть, уйти на более спокойный участок фронта. И всё же усилием воли он превозмог себя, переломил. И вот теперь, когда он не изменил жене, не клюнул на Марфуту-Переправницу – в душе зажглось какое-то святое чувство торжества и чувство отваги.

В ту ночь они с женою обстоятельно поговорили и, в конце концов, решили взять на воспитание мальчонку из областного детского дома – там дополна было послевоенных сирот. Но судьба распорядилась иначе.

Вдруг пришло печальное известие от однополчанина. Известие о том, что капитан Чирин, с которым дошли до Берлина, недавно погиб в кошмарной автомобильной аварии на железнодорожном переезде. На мотоцикле ехали с женой и под поезд оба угодили. Дома остался трёхлетний парнишка.

Недолго думая, Степан Солдатеич собрался ехать на родину капитана Чирихина – неподалёку от города Курска, знаменитого своими соловьями, которыми гордился капитан Чирихин, прихвастнуть любил в затишке, где верещали птахи. Говорил, что ихний соловей всякого другого запросто заткнёт за пояс – курским соловьям вовек не будет равных по красоте и сложности головокругительных сереброзвонков.

2

Трофейный немецкий паровоз, несущий на лбу громадную звезду, словно бы кровью Победы окрашенную, неторопливо, но исправно тащил вагоны мимо сиротливых, еле-еле вставших на ноги советских полустанков, сёл и деревень. Ещё встречались обгорелые боры, чёрные берёзовые рощи, бомбёжками раздолбанные берега и порушенные мосты, упавшие на карачки. Но страна уже старательно врачевала раны. Заводские новостройки поднимались вдоль железной дороги, дышали трубами. Молодые тонконогие посадки тополей, берёз и клёнов там и тут взбежали на пригорки – провожать и встречать поезда. Золотым отливом блестя на заре бревенчатые рёбра новых домов. Со временем, конечно, страна залечит раны. Только душу трудно будет залечить.

Прохладный, прокуренный тамбур немного смущал Стародубцева – когда-то у него была клаустрофобия. Он ходил, как зверь по клетке, плечами по стенам шаркал. Стоял, смотрел вприщурку, думая о чём-то невесёлом.

Паровоз, переставая стальными каблуками отплясывать чечётку, останавливался едва ли не у каждого столба. Пассажиры с баулами выходили и заходили. И Степан Солдатеич иногда проворно соскальзывал с подножки вагона. Чаще всего он это делал на полустанке, где буянило степное разноцветье.

Отходя от вагона и рискуя отстать, он зачем-то рвал цветы. Настороженно как-то, необычно держал букет в руках, недоверчиво разглядывал, робко разнюхивал.

– Что? На свидание? – зубоскальничал кто-нибудь. – Давай, запрыгивай, а то пешкодралом по шпалам придётся.

Громогласно проорав лужёной глоткой, трофейная громадина дальше тянула состав. А Стародубцев, непонятно от чего веселея, дарил букетик проводнице, которая наивно думала, что этот симпатявый фронтовичек решил приударить за нею. Но глаза фронтовика были серьёзными, хмуробровыми.

– Ехал из Германии тогда, – пробормотал он, – поверить не мог...

– Чего-чего? – Девушка-проводница не расслышала. – Какая Германия? Мы едем в Курск.

Он промолчал и снова в тамбур вышел. Жадно курил, гоняя по скулам желваки. Глядел на трещину в стекле и снова думал о душе, но думал как-то так, что непонятно было даже самому – то ли о своей надтреснутой душе печалился, то ли о душе своего многострадального народа.

Непоправимо, кажется, невозстановимо война изломала, искорежила душу народа, изорвала в клочья, в пепел изожгла – через какие только испытания русский дух не прошёл, прежде чем оказаться на пороге Победы. И за примером далеко ходить не надо.

Стародубцев, некогда любивший за пазухой таскать голубей, теперь содрогался от мысли о том, что если руку под гимнастёрку засунет – бел-горючий камень вытащит вместо белого голубя. Конечно, это было преувеличение, но ощущение такое, вгоняющее в дрожь, долго преследовало после войны. Весь народ покачнулся под напором беды, затрепал своею становой жилой. И Стародубцев изменился – как часть народа, капля в славянском море. А куда тут денешься? С волками жить, как говорится. А солдат, он, в сущности, – матерый волк, и серая шинель на нём, как шкура. А если ты не будешь волком на войне – значит, будешь трусливым зайцем и судьба твоя до первой рукопашной, если раньше того с дурой-пулей не повстреча-

ешься. А в рукопашную пошёл – там зверь со зверем сходится; забудь, забудь на время или навсегда, что ты когда-то назывался человеком, любил стихи и музыку, умилялся росам, туманам и звезде. Забудь – иначе никогда тебе уже всем этим прелестям не улыбаться. Так и только так – никакой золотой середины. Золотая середина – это где-нибудь в тылу, в кабинете сытого золотопогонника, направо и налево раздающего указивки.

Душа у Стародубцева на фронте «в себя ушла», а тело так засуровело, так ожесточилось, точно кирзовой кожей покрылось. Или даже не кирзовой, нет. Говорят, что у буйвола кожа – пули отскакивают. Если это правда – значит, кожа буйвола была теперь на нём, только потому и уцелел – пули от него отскакивали. И цветы чернели от него.

«А проводница, клуня, – думал Стародубцев, – смотрит на меня, как на придурка: зачем он рвёт цветы на полустанках и дарит ей? Да, тут секрет, мамзель. Секрет государственной важности. И Гомоюн тебе его не выдаст».

Ему вспоминались первые ночи и дни после Победы, когда в небесах будто пушки Господа Бога гремели, поминутно салютуют, когда многострадальная земля умывалась небесною влагой, словно бы очистительным божьим потоком, дарующим новую силу зерну и траве, человеку и зверю, и птицам. В эти дни и ночи Гомоюн был похож на грозовое небо, в котором скопилась энергия разрушительных молний. А ещё он был похож на трансформаторную будку, на которую забыли прицепить табличку: «Не влезай, убьёт!» Даже цветы в могучих лапах фронтовика начинали хиреть и скукоживаться – Стародубцев это с ужасом заметил, когда ехал из Германии, когда его, героя-победителя, с букетами встречали на границе. Более того, заметил он: если живую птаху взять и подержать в руках, опалённых кровью и ужасом боёв, – птаху скоро становилась будто пришибленная или заморённая; чёрные дробинки глаз дремотно помаргивали, всё чаще задёргиваясь какою-то белой болезненной плёнкой.

По этой причине он даже ребёнка лишний раз боялся подержать на руках, чтобы не навредить неокрепшему, незащищённому птенчику. «Может, как раз поэтому, – угрюмо думал он, – Господь дитёнка не даёт: кровь-то у меня теперь – звериная. Ещё родится чёрт знает что – хвостатое да волосатое!» Но потом он стал землю пахать, строить дом, – и постепенно, исподволь чёрная сила войны стала покидать его. Душа понемногу светлела, как светлеет река после бешеной бури, возвращаясь к былым берегам. Однако Стародубцев всё ещё тревожился, не доверял покою, вселявшемуся в душу.

Вот почему он вёл себя так странно, когда поехал за голубоглазым «курским соловьём». Во время остановки собирал букетики в лугах и на полустанках покупал букетики, держал в руках, смотрел. Цветы не вяли, слава тебе, Господи. И всё же Стародубцев не спешил обрадоваться. Нужна была ещё одна серьёзная проверка.

На захудалом сереньком разъезде, припудренном пылью и затянутом паутиной, Солдатеич даже денег не пожалел сопленосому голубятнику – только за то, чтоб ему, Стародубцеву, разрешили птицу в ладонях подержать.

– Я когда-то разводил вертунов и дутышей, – точно оправдываясь, пробормотал он. – Соскучился.

Голубь мира, как называл его Солдатеич, вёл себя вполне миролюбиво. Белоснежным цветом он сидел в грубой чашке намозоленных ладоней. Потом чуток вертелся, ворковал, бриллиантовыми глазками поблёскивал. А в последнее мгновение, разыгравшись, голубь даже гостинчик в руку ему положил.

– Паразит! За мои же деньги и нагадил! – Гомоюн расхохотался, возвращая голубя сорванцу. – Ну, всё! Спасибо, землячок! Теперь-то я спокоен! Пташечка не вянет!

И только после этого он осмелел. Приехал и уверенно подхватил на руки приёмного сынишку, словно бы омытого с ног до головы и ароматно пахнущего парным молоком, мёдом луговым, цветами, разнотравьями и нежным птичьим пухом.

3

И поселилась в доме большая радость – ничем не заменимая отрада обретения ребёнка, обретения отцовства и материнства. Ведь если по большому счёту разобраться, только ради этого и стоит жить на свете – ради вот этого чуда, пускающего пузыри, что-то лопающегося и смотрящего на мир такими чистыми, такими наивными глазами – аж сердце надывается от нежности, от такого несказанного чувства, которое грудь обжигает огнём золотым.

По утрам теперь как будто не дитё вставало в доме – красно солнышко всходило, от уха и до уха улыбаясь и протягивая тонкие ручонки, будто жаркие лучонки.

Солнышко это называлось Николик – в честь отца, Николая Чирихина.

Новый смысл появился в жизни приёмных родителей, и всякий день теперь казался прожитым не зря – не то, что раньше. И приёмный отец, и приёмная мать – удивительно преобразились. Похорошели они, подобрали, сияя глазами, улыбками нехотая одаривали встречающих. В доме появились новые заботы, хлопоты. Степан Солдатеич своими руками смастерил добротную детскую кроватку из ароматных сосновых досок; небольшой комод для детского белья. Разнообразных кубиков и треугольников напил, настрогал и раскрасил. Оловянных солдатиков где-то раздобыл штук тридцать – около взвода. И даже генерала умелыми руками сотворил. Хороший получился генералишко, франтоватый – в каракулевой папаше, в шинели серебристо-серого цвета. Яркие петлицы полыхали ягодками. Красно-жёлтые угольники на рукавах. А на папаше воссияла звёздочка в золотом кругляше.

Генералишко тот мальчику пришёлся по душе.

– Долго ты что-то любишься этим красавцем, – заметил Стародубцев. – В генералы, однако, нацелился?

– Нет! – сказал парнишка. – Буду солдатёнком. Ты же, папка, Солдатеич...

– Солдатёнок – это хорошо. А всё же генералом было б лучше. А, сынок?

Мальчишка промолчал, сосредоточенно рассматривая игрушки, среди которых было много всякой оружейной всячины: заржавленный затвор, пустые гильзы...

– А это чо такое? – расспрашивал Николик. – Это, сынок, называется – пыж.

– А вот это?

– Это курок. Собачка.

– А почему её так обзывают? Кусается?

– Гавкает она, сынок. Если тронешь эту собачку – оружие гавкает. Ну и кусается, конечно. Клыки свинцовые.

Мальчик посмеивался, не понимая, то ли шуткует папка, то ли нет. А папка, между тем, настроен был серьёзно: деревянную бронетехнику прикатил – пушки с танками. А в придачу к этому – целая вязанка сосновых кругляшей, напоминающих гранаты и лимонки; деревянный треугольник, похожий на кобуру немецкого парабеллума.

– Зачем всё это? – Жена поморщилась. – Не надо, Стёпочка.

– Ну, а как мальчонка-то без этого?

– Да поди проживёт как-нибудь. Он же не знает ещё про войну.

Солдатеич подумал, подумал – и отправил «военную технику» в печь. И долго, угрюмо сидел на полу, смотрел на огонь, вспоминая танковое побоище под Прохоровкой в июле 1943 года – печально знаменитую Курскую дугу. И деревянная «бронетехника», с треском сгорающая в печи, отзывалась в душе у него стоном и звоном настоящей брони. Сколько там было её, мать моя родина! Тысячи тонн, искорёженных дикими наскоками друг на друга, издырявленных прицельным бронебоем, расправленных в топке захлебнувшихся атак.

Сзади подошёл Николик. Удивился: – Зачем ты в печку пушки побросал? – Это не я – это Гитлер!

Парнишка насупился.

– Если ты не хочешь делать пушки, так я другого папку попрошу.

Стародубцев вздрогнул, как дерево, ушибленное громом. Сердце в такие минуты – словно бы тоже бросали в огонь.

– Какого – другого? Что молчишь, партизан?

Николик поначалу был весёлым, заводным, постоянно что-то лопотал и во всем старался помогать приёмным родителям. И вдруг с ним что-то произошло. Он стал меняться прямо на глазах – капризничал, вредничал. Дух противоречия проявлялся в нём с такою силой, как будто не трёхлетний «курский соловей», а тридцатитрёхлетний соловей-разбойник характер свой показывал.

– Кризис трёхлетнего возраста, – объяснила фельдшерица, ходившая по дворам и делавшая детям прививки. – Это бывает со всеми. Пройдёт. Не волнуйтесь.

– Со всеми такого не бывает, – строго вымолвил Стародубцев. – Он же папку с мамкой потерял.

– Ну и что? – успокаивала фельдшерица. – Да он их не помнит. Вы об этом даже и не думайте.

– Легко сказать – не думайте, – прошептал Солдатеич, вздыхая. – А голова тогда зачем? Шапку носить?

Он был уверен, что трёхлетний малыш стал меняться в худшую сторону от того, что потерял своих настоящих родителей, и обретение новых отозвалось в нём какими-то глубинными, печальными переменами.

Ошибся Степан Солдатеич. Да и слава Богу, что ошибся. В четыре годика, в пять лет и в шесть голубоглазый «курский соловей» преобразился в лучшую сторону. Пропали капризы и вредины, исчезли потаённые страхи, возникавшие после прочитанной сказки. Темнота перестала пугать.

Повеселел парнишка и сделался покладистым, ровным и уверенным в себе – как Чирихин-старший.

Душою и телом Николик взял всё, что можно было взять от родного отца. День за днём и год за годом из него «прорезался» и характер и облик Чирихина-старшего, его манера говорить, выставляя вперёд угловатый крутой подбородок; манера смотреть, слегка исподлобья; манера ходить, наступая на пятку так сильно, что подмётки рвались на ходу.

– Надо снова покупать, – замечал Стародубцев ближе к зиме. – В чём пойдёшь? Босиком? Так пятки тоже могут быстро изнашиваться, ежели не подковать.

В ответ Николик только похохатывал – чувство юмора досталось от отца, любившего, а главное, умевшего травить анекдоты на фронте.

4

Зимой нередко томились дома, зимовничали-домовничали. По снегу, по морозу не шибко рыпались, но всё-таки за печку не держались – не тараканы запечные, особенно если учесть сибирскую закваску Солдатеича.

Парнишку-непоседу через день да каждый день тянуло покататься на сахарных горках, на хрустальной реке. И Солдатеич за ним – куда денешься – вдогонку трусил на лыжах и даже на коньках скользить пытался до тех пор, пока не грохнулся и такую прорубь задом прорубил – до конца зимы не замерзала, дымилась, как воронка после бомбёжки; так сам он зубоскалил над собой.

Доля Донатовна, собирая вечерять, порой не могла докричаться до них. Домой возвращались – как два развесёлых синьора-помидора из недавно прочитанной сказки «Приключение Чиполлино».

– И что за имечко такое – Чиполлино? – рассуждал Стародубцев за ужином. – Не поймёшь: чи Полина это? Чи ни Полина? То ли дело – Никола, Николик. Хорошее имя, сынок, досталось тебе. Круглый год – одни праздники. Наливай да пей. Зима пришла – Никола Зимний. Святой водички попьём из проруби. А весна придёт – Никола вешний, Никола-травник. Опять наливай. Только теперь уже – берёзового соку.

А в июне этот, как его?.. Мать, подскажи. – Никола кочанный.

Глазёнки у парнишонки хлопали в недоумении. – Качают, что ли?

Доля улыбалась.

– Нет, сынок. Это когда капуста в кочаны завязывается. Стародубцев ерошил волосы у парнишки на голове. – Вот это капуста. Кочан у тебя на плечах.

Николик похотывал. Хорошо им было, как это всегда бывает в доме, где царит согласие, любовь.

Старогородская зима – не серьёзная для сибиряка, будто игрушечная – свой белый порошок растрачивала быстро. В доме распечатывали окна. Ограду в палисаднике подлаживали. Новый скворечник сколачивали из досточек или мастерили из дупла, загодя из лесу принесённого.

Парнишка глядел на ручей, скользящий по кособокому, на большую лужу, где белело отражённое облако.

– Папка! – дёргал за рукав. – А когда будем строить корабль?

– Скоро, скоро, сынок. – Будем с пушками строить? – А как же. Линейный корабль.

– Линкор! – с гордостью подхватывал парнишка. – Только не так, как в прошлом годе. Как жажнуло тогда, так только щепки летели.

– Ну, это капитан пожадничал тогда, порошу насыпал, как дурак махорки.

Посмеиваясь, Николик помогал отцу – подавал инструменты и что-то даже сам строгал и приколачивал. Потом они бродили по сухим пригоркам. Смотрели, как весна бежит навстречу лету – спешит по сугробам, сопревшим на солнцепёках, торопится по лужам, из которых зёрна яркого света клюют воробьи и голуби. Задорная капля постреливала – свинцовой дробью и увесистыми пулями. Сосульки с крыши падали – серебряными копьями звенели, раскалываясь. А там, глядишь, грачи, скворцы нагрянут на поля, на крыши, на скворечники, на высоких шестах воздетые к поднебесью, такому синему, такому чистому, аж дух захватывает...

Солдатеич был не силен в ботанике, но всё-таки знал кое-что и хотел парнишку научить.

– Вот это – кукушкины слёзы, – показывал он. – А вот это съедобная травка – «лук победный», вот как называется.

А проще сказать – черемша. Мы сейчас нарвём, чтоб мамку угостить.

Мальчишка всё запоминал и за столом подробно пересказывал мамке.

– Лук победный? – Доля Донатовна удивлялась. – Это кого же он победил?

Николик растерянно глядел на папку.

– Ну, здесь такое дело... – Стародубцев чесал за ухом. – Мне на фронте один умник говорил, что римские солдаты из этого лука делали такие штуки – амулеты, ладанки на шею цепляли, чтобы они победу приносили. Но у меня на этот счёт другое мнение. Во время войны жрать было нечего. Черемша спасала – победу приближала.

– Не жрать, а кушать, – осторожно поправляла мамка, – научишь тоже.

– Кушать, кушать, да, – спохватывался Степан Солдатеич. – Белую крахмальную салфетку, бывалоча, в окопе заткнёшь за воротник, оттопыришь мизинцы и говоришь: ну, где там маршал Рокоссовский, где маршал Жуков? Почему до сих пор котелок на серебряном блюде не принесли? И где моя ложка с бриллиантовой брошкой?

И опять парнишка разулыбливался, но при этом довольно-таки быстро чашку с кашей подчищал и, не стесняясь, просил добавки.

«Во даёт, солдатёнок! – пряча ухмылку, думал приёмный отец. – Нигде не пропадёт!»

Николик, правда, и уроки делал быстро, и всё другое у него получалось ловко и скорёхонько, а главное – без видимых усилий. И походы по лесам и лугам парнишка одолевал без нытья и хныканья – Стародубцев это отмечал с огромным удовольствием. А походы у них становились всё более частыми и продолжительными.

Каждую весну, когда в округе сгорала снеговель и подсыхали дороги, поляны в бору, Солдатеич со своим голубоглазым Солдатёнком снаряжались в поход.

– Собрать пойдём ягоды-грибочки! Жена обескуражено спрашивала:

– Какие там грибочки? Какие ягоды? Их ещё нету. – Как это – нету? Полно.

– Прошлогодних, что ли? Тех полно.

Стародубцев незаметно подмигивал сыну. – Много мамка наша понимает, да? Ну, ты готов?

– Так точно! – Парнишка надевал фуражку и залихватски брал под козырёк.

«Вот откуда это у него? – удивлялся Степан Солдатеич. – Я не учил. Доля тем паче. Папкина кровушка, видно, играет. Чирихин, тот был – военная косточка».

– Ну, если готов боец, тогда – вперёд. Сначала строевым, потом походным шагом.

Доля до калитки провожала их. С грустью глядела, как парнишка пыжится, пыль выбивает из травы – старательно печатает шаги.

– Вы на рыбалку, что ли? – не могла она уразуметь. – А где удочки?

– На рыбалку мы и на охоту. А всё, что нам надо... – Стародубцев рукою показывал куда-то в поля, в леса. – Всё там припасено. Всё ждёт нас, не дождётся. Ясно, мамка? Нет?

Мамка отрицательно качала головой, поправляла ситцевый платок. Ничего пока что ей было не понятно в этих сборах, в этих туманных походах.

– А когда придёте? – Завтра. Поджидай к обеду.

– С ночевьём? – Доля глаза округляла. – Да ты простудишь парня! Где спать-то?

– У костра.

– На голой земле?

– Спокойно! – Он поднимал указательный палец, прокуренный до желтизны апельсиновой корки. – Я взял шинель.

– Стёпа! Ну, ты как маленький, ей-богу! Да ведь это...

– Ну, всё, мамка, всё, – грубовато обрывал он, – мы пошли, не кудахтай. Мы тебе объявляем наряд вне очереди. Сиди на кухне, картошку чисти. А можешь так сварить. В мундирах. Но только – в генеральских. В солдатских мы не станем жра...

Не будем кушать.

И они – все трое – дружно посмеивались. Руками помахивали на прощанье.

5

Если впереди был выходной – далеко могли уйти, запропасться в глуши. От темна и до темна шарились в бору и по краям топучего болота. Искали разного рода «ягоды-грибочки», в большом количестве оставшиеся на полях сражений. В Старорусском, в Чудовском и в других районах – это огромная площадь – в годы Великой Отечественной войны гремели кошмарные бои между подразделениями Северо-Западного фронта Красной Армии и частями Вермахта. Так что здесь не редкость – пробоины в соснах, осколки, облитые золотом старой живицы. Тут можно увидеть остатки окопов – раззявились провалами, наполненными ржавой водой, точно сукровицей. Заржавленные пули под свежими зелёными листьями издали могут показаться россыпью ягод. А ржавая простреленная каска, сквозь которую взойшли ромашки, всё равно, что крупный мухомор. Жутковато было там бродить, но интересно.

Николик порой даже прогуливал школу – забирались так далеко, что приходилось ночевать в лесу возле костра, чтобы утром отыскать дорогу.

– Ничего, сынок, не беда, – успокаивал Солдатеич, приготовляя похлёбку. – Эту школу жизни тоже надо проходить, если хочешь быть мужиком.

– Я хочу как ты, – решительно заявил сынишка, – хочу пулемёт с закрытыми глазами разбирать.

– Молодец. Только матери, гляди, не проболтайся. – Да ну! Что я, девчонка?

– Ну, когда купались, дак я видел, что мальчонка, – Стародубцев посмеивался. – Такой мальчонка, что о-го-го!

Хлопая лазоревыми глазками, Николик не мог понять, в чём дело. Потом был скромный ужин. Потом отец угрюмо, сосредоточенно сидел у костра, сутулился над грязным оружием, найденным на краю болота.

– Папка, – расспрашивал парнишка, – а откуда тут столько грибочков и ягодков?

– О, сынок, что тут было! – Стародубцев качал головой. – Чего стоит один Мясной Бор.

– А где он, тот Мясной? – У нас под боком.

– А чо там, папка? Мяса много?

Откладывая в сторону ржавое оружие, Степан Солдатеич приседал на корточки возле костра. Прикуривал от уголька.

– В годы войны, сынок, Мясной этот Бор поглотил горы мяса – десятки и десятки тысяч советских солдат и офицеров с оружием, с техникой. Что тут было, ужас.

Глаза у парнишки становились большими, испуганными. – А зачем он проглотил? Голодный был?

– Голодный, холодный и злой. – Стародубцев, глубоко затягиваясь напоследок, бросал окурки в костёр. – Ну, давай, сынок, спать. Завтра подъём будет ранний.

Из мохнатых сосновых веток делали постель, ложились у костра, шинелью накрывались. Пахло свежей смолой, разнотравами и разноцветами. Туман седыми прядями напознал от реки, от луга, на котором поскрипывал коростель. Голубовато-сизый вечер, догорая на западе, обугливался головёшкой. И постепенно под боком обугливался прогорающий костерок. Темнота мохнатой шапкой накрывала малиновые угли, мерцающие в небольшой округлой загородке из речных камней. Какая-то птица по темноте прошуршала, просквозив неподалёку, – наверно, утка или запозднившийся вальдшнеп, лесной кулик с таким длинным клювом, которого хватило бы на десять воробьёв – так отец рассказывал про здешних обитателей рек и озёр.

Глубокая ночь распускала над миром букеты созвездий – над сумраком тёплых полей, над вершинами бора, в глубине которого, как часовой, размеренно и глухо ухал филин. Луна будто украдкой из-за облаков проглядывала – ярким белком поблёскивала и опять насупливала брови. Ветерок в деревьях изредка пошумливал, точно спросонья с боку на бок переворачивался, поудобней укладывался. Река неподалёку тянула свои струи – под берегом подрагивал тальник, посеребрённый отсветами неба. Ёжик брал острый ножик, на охоту за мышами выходил. А там, глядишь, и серый волк, зубами щёлк...

Такими ночами Николику и жутковато было, и хорошо, так хорошо, что не спалось.

– Папка, – просил он, глядя в бездонное небо, – почитай мне сказку.

– Чего? – Стародубцев приподнимался на локте. – Спи давай.

– Не хочу. Глаза не закрываются.

Звучно зевая, папка нехотя вставал, хворосту подбрасывал в костёр. Передёрнув плечами – прохладно уже – садился на пенёк, смотрел, как в середине костра на чёрных корявых ветках распускаются червонно-голубые листья огоньков. Потом вздыхал о чём-то и принимался рассказывать приглушённо-рокошущим речитативом:

В тридевятом, значит, царстве,
В тридесятом государстве
Жил-был славный царь Дадон,

Смолоду был грозен он...

– Не-е! – перебивал Николик. – Ты читал про этого Долдона!

Рассказчик замирал с полуоткрытым ртом. – Вот те раз! А когда я читал?

– Недавно. Это сказка о золотом петушке. – Правильно. Дак что тебе ещё? – Папка царапал загрибок. – У меня же голова, а не Дом Советов. Я тебе откуда сказок напасусь?

– Ты же сам говорил, что хотел быть учителем, что книжки день и ночь глотал, как пирожки.

– Глотал, сынок. Хотел, да вот война...

– Ну, так что? Не знаешь больше?

– Голова просыпалась. – Папка вздыхал. – Ну, разве что вот эту... Не читал я тебе «Сказку о царе Салтане»? У неё, правда, название такое длинное, что не всякий запомнит: «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди». Во, как мудрёно. Ну, слушай, сынок.

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица, –
Говорит одна девица, –
То на весь крещёный мир
Приготовила б я пир»...

– Пап, а чо такое крещёный пир?

– Ну, во-первых, мир крещёный. Мир. Надо внимательней слушать. А во-вторых, сынок, не перебивай, а то мы до утра тут будем пировать. Бухвостить почём зря. Чего? Не знаешь такого слова? Бухвостить – это, значит, рассказывать небылицы. Бухать хвостом. Ты же видел вчера бобра? Видел, как он бухал хвостом по воде? Ну, вот, а что ж ты спрашиваешь?

Мальчик, сверкая глазёнками, посмеивался под солдатской шинелью, слушал, слушал сказку и вскоре незаметно засыпал.

А Стародубцев уgomониться не мог – нервишки шалили. Только-только закроет глаза – ветка щёлкнет, как будто взведённый курок. Он приподнимется, ощущая частый и горячий сердцебой под рёбрами. Вприщурку посмотрит по сторонам. Что такое? Никого. Он снова прикорнёт, только уже с тревогой – на чеку, настороже. Лежит, глядит вполглаза, как разведчик.

А затем как-то незаметно для себя задремлет и неожиданно увидит в тумане: солдаты Вермахта кругом стоят, из болота вылезли, грязно-кровавые лапы протягивают, погреться хотят у костра.

– Фу ты, ёлки-шишки, – вздрогнув, он глаза протирает. – На минуту закимарил, и пожалуйста...

Он сидит возле костра. Насторожённо курит. Шинель время от времени поправляет на Солдатёнке – клубком свернулся, точно котёнок. А где-то за деревьями пощёлкивают сухие сучья или ветки, будто бы снова на передовой невдалеке затевается перестрелка. И звёзды, распарывая темноту над вершинами бора, кажутся немецкими ракетами. И полночные звуки далёкого зверя или хищной птицы вдруг почудятся приглушёнными залпами. И дикий голубь, потревоженный кем-то или чем-то, вдруг пролетит над самой головой, будто вражеский бомбардировщик. И все другие многочисленные скрипы и шорохи впотьмах говорили только об одном: война передышки не знает; и немцы, и русские, пользуясь темнотой, спешат доставить своим солдатам всё, что необходимо: снаряды, патроны, бомбы, мины, кашу, хлеб, махорку, лекарства, горючее для техники и горючее для человека, то бишь, водку для русских и шнапс для немцев.

А только под утро Степан Солдатеич задремлет, забудется, а там, глядишь, и солнце опять уже собралось пойти в штыковую атаку – лучи заостряются между деревьями, сверкают жёлто-красными жаркими жалами. Такая картинка рассвета частенько вставала у него перед глазами. Хотя случалось и по-другому: иногда он видел ласковое солнце – раноутреннее, заспанное, где-то за туманами оно еле-еле ворочалось, будто с трудом отрывало рыжую голову от подушек, набитых лебяжьим пухом.

– Рота, подъём! – трубил отец. – Эй! Солдатёнок! Вот тебе одна спичка, больше нам генералы не дали. А приказ такой: добыть огня, сварганить завтрак. Ясно? Тогда вперед.

И Солдатёнок старался, вон из кожи лез. До слёз доходило, когда одна-единственная спичка зазря пропадала.

– Держи вторую, – великодушничал Стародубцев. – Генерал на всякий случай передал.

– Не надо, – упрямылся мальчонка, – обойдусь. Проявляя смекалку, он разбирал патрон, порох высыпал на бересту и начинал химичить при помощи увеличительного стекла – первые лучи ловил. Или с помощью камней добывал искру. Степан Солдатеич, наблюдая за ним, был доволен: Солдатёнок такой подрастал, что нигде не пропадёт, не струсит.

Позавтракав на скорую руку, они дальше двигались – искали «грибочки-ягодки». Или дорогу искали – как пройти поближе к дому. Да не просто так пройти – нужно незаметно пронести трофеи.

6

В разное время и в разных местах они нашли и в сумерках тайком до дому притащили: ручной пулемёт МГ-34, два советских пистолета-пулемёта Шпагина, больше известные как «ППШ»; револьвер «Веблей Мк VI»; чехословацкий ручной пулемёт ЗВ-30; советский Дегтярёв и много, много чего ещё...

И вскоре все эти хохоряшки с трудом помещались на чердаке. И тогда Стародубцев – изображая из себя примерного хозяина – выкопал просторный подпол, который был похож на bunker: каменные стены, потайная дверь, неизвестно куда уводящая.

Жена однажды заглянула в эти закрома и ужаснулась. – Стёпа, родненький! – Зрачки у бывшей медсестры стали широкие – как от белладонны. – Ты что? Совсем сдурел? Не навоевался?

– До изжоги! – ответил он, ребром ладони чирикавая по горлу.

– Ну, так зачем тебе всё это?

– Да это не мне. – Он замаялся. – Это так, для музея.

– Для какого музея?

– Ну, в области который. Соберу и сдам. Денег обещали заплатить. Ты, кстати, не знаешь, где мои трофейные часы?

Ну, те, которые на бриллиантах или на сапфирах, или чёрт их знает, на чём они идут... – Стародубцев делал отвлекающий манёвр – старался голову жене забить разговорами о часах. – Забыла, что ли? Луковка такая, золотая. Под Берлином часовую мастерскую разбомбили, а там...

– погоди, мы про часы потом поговорим. – Доля напряжённо смотрела на него, не умевшего лгать. – В музей, говоришь? Так чего же ты всё это не сдаёшь?

Он тяжело вздыхал, огорчённый тем, что не удалось отвлечь. – У них пока машины нет. Приедут – заберут. Не беспокойся.

– Да как же я могу не беспокоиться? – Жена всплеснула руками, белёсыми от стирки. – У Николика патронов полные карманы. Я в печку бросила вчера, так чуть со страху не обмочилась. Как шархнет! Да-а! Тебе смешно.

Пряча улыбку, Стародубцев нарочито хмурился, почёсывая ухо, «узорно» посечённое шрапнелью.

– Тоже хватило ума – в печку патроны бросать.

– А я откуда знала, что это настоящие. Ох, Стёпа, Стёпочка. Беда с тобой. Ну, чему ты парня учишь? Ты подумал?

– Подумал. Если хочешь знать, так этот курский соловей цельную кучу сказок знает наизусть. А кто научил его? Ты, что ль?

– Учи, учи, учитель. Боком бы не вылезло. – Доля Донатовна сокрушенно вздыхала, принимаясь за стирку. – Воды принесите. Вояки.

Глава шестая. Воспоминания и сновидения

1

Мечтая стать учителем, парнишка из сибирской глухомани самозабвенно читал до войны, читал даже под одеялом со свечкой, однажды едва не устроив пожар. Читал запоем, несмотря на запреты и пренебрегая затрещинами – иногда прилетали от матери или отца. Читал всё подряд, удивляя своей потрясающей памятью: в его голове помещалось великое множество классических русских стихов и рассказов, и целые главы романов. На фронте, до первой серьёзной контузии, Стародубцев своими познаниями даже зарабатывал на хлеб, на табачок. Его, молодого, безусого, одного из немногих навеличивать стали из уважения.

– Степан, понимаешь ли, ибн, Солдафоныч, – зубоскалил старшина Рукосталь. – А ну-ка, ответь на вопрос.

Энциклопедическим познаниям Стародубцева изумлялись даже хорошо начитанные люди из Москвы и Ленинграда.

Наступающая армия однажды остановилась где-то между Орлом и Калугой. Усталые бойцы устроили привал в вечернем лесу, раззолотили костры – подсушить барахлишко своё.

– Наша кухня что-то не торопится, – заметил один доходяга, который как будто питался не солдатской пайкой, а духом святым. – Гомоюн, ты бы траванул нам байку.

Коротая время, он начал рассказывать странную какую-то историю о том, что «...если кому-то случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, наверно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой».

– Орловский мужик, – говорил, будто книжку читал Гомоюн, – невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живёт в дрянных осиновых избёнках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти. Калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дёгтем и по праздникам ходит в сапогах...

Старшина Рукосталь, подойдя поближе, приоткрыл щербатую свою «хлеборезку», изумлённо глядя на рассказчика.

– Какая барщина? Какие лапти? Ты чо несёшь, Гомоюн? – Это не я, товарищ старшина. Это Иван Тургенев. «Записки охотника» называется. – А где они, записки?

– Здесь, в котелке. – Стародубцев козонками постукивал по своей голове.

– Хороший котелок. Это, я скажу тебе, большая редкость. Генералу надо показать тебя.

– Зачем? Не надо. Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь.

– Не хочешь генералу – покажу ефрейтору. Для начала. У меня тут есть ефрейтор Грамотейкин. – Старшина повернулся и приказал кому-то срочно позвать ефрейтора.

Грамотейкин пришёл, франтовато хрустя хромочами, которые заработал умом. Сытый, ухоженный, компанейский вояка, он производил хорошее впечатление. Только грамотность маленько «подпортила», как говорили солдаты. Грамотейкин возомнил о себе чёрт знает что. Едва не наступая на губу, оттопыренную от великой важности, ефрейтор, как Наполеон, любил стоять, скрестивши руки на груди, где горели пуговицы, надраенные так, что от любой из них можно прикуривать. Небольшие, глубоко посаженные серые глаза глядели снисходительно. Грамотейкин лениво что-то жевал и ухмылялся, разглядывая «супротивника». Солдатеич – ни лицом, ни выправкой – не представлял угрозы. Но довольно скоро высоколобый и чванливый Грамотейкин полинял и стушевался, ревниво слушая соперника, который без запинки шпарил то «Евгения Онегина», то «Героя нашего времени», или принимался почти по тексту воспроизводить рассказы Чехова, Толстого, Куприна.

– Во, даёт! – изумлялись вокруг, а старшина повторял: – Надо генералу показать!

В разное время и в разных местах Грамотейкин, наполняясь раздражением, несколько раз пытался побороть «старого дуба», так он обзывал противника. На лопатки хотел положить – в смысле эрудиции, но ничего пока не получалось.

Иногда они спорили так горячо и так самозабвенно – в полный рост поднимались над бруствером, за грудки трясли один другого. И однажды вдруг по левому погону Стародубцева – им тогда погоны только выдали – пуля со свистом шаркнула, подстригла кривой солдатский шов.

– Ложись! – побледнев, заорал старшина. – Умники, мать вашу! Угломонитесь, пока не размазало мозги по окопам!

Как два медведя в одной берлоге не уживаются, так и эти два эрудита не могли успокоиться – всегда находили причину для спора. И почти всегда ефрейтор был подстрекателем – уязвлённое самолюбие не давало покоя.

– Неправда ваша, батенька, – снисходительно и даже оскорбительно говорил он через губу. – Могу поспорить.

Солдатеич, уверенный в своей правоте, однажды возьми да брякни:

– Хорошо, давай поспорим. А? На сапоги? Я гляжу, у тебя офицерские. Сносу им не будет. До Берлина дойду и обратно.

Ефрейтор скосоротился, глядя на пыльные, тупорылые кирзачи Стародубцева.

– Я на эти лапти спорить не хочу.

– А зачем на лапти? Если проиграю – даю отменный куш! Гляди! – И Стародубцев показал ему кое-что сверкающее трофейным золотом.

Сгоряча согласившись, Грамотейкин проиграл хромочи и потом километров сколько-то чапал босиком: кирзачи оказались не в пору – ноги натёр до кровавых мозолей, углями горящих. Чуть позднее он прибарахлился – разул убитого фрица. Но обновка оказалась неудачной: ноги стали мёрзнуть в «мёртвых» сапогах.

– А знаешь ли ты сказку про сапоги колдуна? – спросил Стародубцев. – Там почти такая же история, как с тобой. Ровно в полночь колдун под окошко приходит и требует свои сапоги. А солдату жалко отдавать. Но ума хватило – выкинул в окно. Колдун подхватил свои сапоги, гикнул-свистнул и с глаз долой.

– Вот и мне охота свистнуть так, чтоб ты исчез, – признался Грамотейкин. – Надоел ты мне, Гомоюн, ей-богу.

– Я исчезну, ты только послушай совет: выбрось эти сапоги. А иначе покойничек-фриц будет ходить за тобой по пятам.

Не послушался ефрейтор, был большим гордецом. А через два с половиною месяца его нашли замученным. Только не покойник-фриц – живые фашисты учинили расправу. Грамотейкин попал в окружение, в плен угодил. Немцы увидели на нём свою обувь и такую придумали казнь – страшно вспомнить. Отрубили ноги прямо в сапогах, привязали к поясу и отправили за линию фронта. Грамотейкин дополз до передового окопа и скончался от потери крови.

Стародубцев долго забыть его не мог. Засыпая, вздрагивал от наваждения – перед мысленным взором кружилась и плавала голова Грамотейкина, словно ромашками обсыпанная: русый волос побило клочками-лепестками седины.

С тех пор Солдатеич зарёкся с кем-либо спорить по поводу книжного текста: считал себя виновником гибели ефрейтора.

– Да ты-то здесь причём? – успокаивали бойцы. – На войне у каждого своя погибель. Иной солдат сто раз подставится под пулю – и ничего. А другой только высунется из окопчика – и готов, оттаскивай. Так что понапрасну не казись. Лучше давай, рассказывай книжечки свои.

– Своих у меня нет.

– Ну, валяй чужие. У тебя не хило получается. Стародубцеву нравилось читать наизусть «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, но особой любовью звенел у него «Поединок» Александра Куприна. Вспоминая эту повесть, он ласково жмурился и мысленно, бережно страницу за страницей переворачивал, не забывая даже на пальцы поплёвывать и при этом чуть не попадая в раскрытый рот какого-нибудь раззявы-слушателя.

А потом армия дошла до Украины. И тут уже нельзя было не вспомнить «Вечера на хуторе».

Горестно глядя на землю, изрытую бомбами, истерзанную танками и пушками, устремляя глаза в небеса, чёрные от дыма пожарищ, Степан Солдатеич рассказывал бойцам на привале, да так рассказывал, как будто бредил, распуская улыбку блаженного:

– Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нём ни облака. В поле ни речи. Все как будто умерло; вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдаётся в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы...

Замурзанные мрачные вояки, только что лаявшиеся, как собаки, поражённо сникали. Заворожённо смотрели на «сладострастный купол», где ещё недавно кружились фашистские бомбардировщики, землю за волосы дергали – до самых небес долетали ошмётки кустов и деревьев.

Старшина дремал поодаль. Старшина, который мог заснуть даже под грохот «Катюши», вдруг насторожённо вскидывался, будто слышал врага.

– Подоблачные дубы? – Он глядел вокруг. – Тут, кроме тебя, Стародуба, дубов не видно. И какие, на хрен, жаворонки да перепела? Тут одни только вороны кружатся, трупы клюют. Ты что, совсем уже?

– Да это он снова нам книжку читает, – подсказывал кто-нибудь.

– А-а! – Купидоныч ловко плевал через прицельную планку своей щербатинки. – Ну, читай, читай. Тяни кота и зайца к просвещению. Не надоело?

Вздыхая, Солдатеич улыбался.

– Если я сейчас не прочитаю, так вы до этих книжек век не доберётесь. Разве не так?

– Сначала до Берлина добраться надо, потом до книжки. – Одно другому не мешает, товарищ старшина.

– Ещё как мешает. Вот, например, бойцам сейчас надо оружие в порядок приводить, а вместо этого они сидят – уши развесили, как портянки. Это, я скажу тебе, форменное безобразие. Это, можно сказать, натуральный разврат в наших войсках. Солдат, понимаешь, спит, а служба идёт? Так, что ли?

– Это нас не касается. Мы не дворяне. – А причём тут дворяне?

– Ну как же! – Солдатеич приободрялся, складки расправлял на гимнастёрке. – В незапамятные времена был такой обычай: если в дворянской семье рождался мальчик – его записывали в полк. Рядовой мальчонка спал, мальчонка подрастал и таким манером дослуживался до офицерского чина. Но потом наш русский царь – я забыл, кто именно – решил проверить свои войска. Приказал явиться всем без исключения. А мальчонки, те, которые в пелёнках, не пришли, понятное дело. И тогда их царь увольнял. И приказал, чтобы больше таких бойцов не смели заводить. Вот откуда пошло: солдат спит, служба идёт. Разве это похоже на нас?

Довольное войско вокруг похотывало.

– Бреешь ты всё, Стародуб, – проворчал обескураженный старшина. – Лишь бы тока от службы отлынивать.

– Языком мы с вами города берём, а как дойдёт до дела, так отлынивать, – вспоминал Степан Солдатеич. – Кажется так у Мельникова-Печёрского.

– Ты, мельник, не мели тут попусту! Тряпку в зубы и пошёл наяривать! А вы чего сидите? Зубоскалы! – рассердился старшина. – Хватит! Скока можно тянуть кота и зайца.

Бойцы, посмеиваясь, шли приводить оружие в порядок. А старшина, подозревая Солдатеича, неожиданно протягивал пузатенький кисет, – у него была махра такая, что за сигарку, бывало, отдавали пайку хлеба. А тут – бесплатно предлагает.

– И с чего бы это вдруг такая щедрость?

– Бери, бери, – смущённо рокотал старшина. – Я же не совсем... не фриц какой-нибудь тупой.

– Вот фрицы-то как раз и не тупые. – Стародубцев позиркивал по сторонам – политрук бы только не услышал. – Какая связь у них? И какая связь у нас? Ты ведь отлично знаешь. А какие у них пулемёты? Косят, падла, как траву. Славян, цыган, евреев – всех под корень пытаются выкосить. Я только не пойму, что между нами общего.

– Вот и я о том же. – Старшина плохо слушал его. – Если немцы не тупые, так зачем они Гитлерюгу этого короновали? На щит подняли.

– Ну, это ненадолго. Раскоронуют.

– Ага, сейчас. Это нам с тобой придётся делать. – Сделаем. Как выпить дать.

Покачивая головой, старшина ловко сплюнул сквозь прицельную планку своей щербинки.

– Умный ты парень. Да тока дурной. Я генералу тебя хочу показать, а ты несёшь такую ахинею. А вдруг я тебя заложу, Гомоюн? Ты об этом не думал?

– Ну, допустим. И что дальше? Штрафная рота? Шурики-жмурики? – Гомоюн покосился куда-то в сторону тыла. – В наши спины смотрят пулемёты наших заградительных отрядов. Так что мы по любому с тобой шурики-жмурики. Если не чужие, так свои...

– Не накаркай. – Рукосталь почесал обожжённую бровь. – А вообще-то я хотел о другом поговорить. Вот скажи мне, Гомоюн, как давно существует грамота на свете? Сколько умных книжек понаписано. А дураков-то на Земле меньше-то не стало.

2

Время от времени снилось ему нечто вроде крепости или огромной стены, которую он называл – Великая Стена Просвещения. Это была громадина из книг, написанных за многие столетия. Среди самых первых, краеугольных камней Великой Стены Просвещения можно было увидеть «Апостола», первую печатную книгу, появившуюся на Руси в 1564 году. Был здесь и первый русский букварь, изданный в 1634 году на Московском печатном дворе. И «Золотой осёл» Апулея, и сказки Шахерезады. И Пушкин, и Толстой, и Достоевский, и «Дон Кихот» Сервантеса. И множество других прекрасных кирпичей, надёжно лежащих в основании Великой Стены Просвещения. А сверху и сбоку прилепились кирпичи и кирпичики современной кладки. И в результате образовалась эдакая крепость – крепость общечеловеческого духа, прочнее которой, казалось, нет ничего на Земле. Но эта крепость по преимуществу – приют и пристанище Лириков.

И вдруг в этой крепости – видел во сне Солдатеич – появляется Физик. Чёрт его знает, откуда он вдруг возникает – как будто из пробирки, из голубовато-черного искрящегося дыма. Энергичный, всесторонне развитый Физик любит почитать стихи и прозу, любит музыку, живопись. Но более того окаянный Физик без ума, без памяти влюблён в расщепление атома. Хлебом не корми его, дай только посидеть, поколдовать в лаборатории. «Физикам не нужен общепит – дай им только атом расщепить!», как сочинил один кудрявый Лирик.

И вот этот одержимый отщепенец, играя и шутя, однажды бросил перчатку в физиономию Лирика. У вас тут, мол, Великая Стена Просвещения, а у нас – Грандиозный Демон Раз-

рушения. Давайте-ка посмотрим: кто – кого. И день за днём, и год за годом бессознательный вызов учёных становится вполне сознательным. И появляются у них свои предводители, число которых нынче велико – Тамерлан, Чингиз Хан, Батый, Наполеон и Гитлер. Под натиском дерзких и наглых, жестоких и вероломных демоном разрушения теперь уже стало понятно: Великая Стена Просвещения – это просто-напросто бумажная стена. Увы! Покуда Лирики строчили свои книги – кирпичи укладывали в стены крепости – Физики за это время столько смертоносного оружия насочиняли, что никакая крепость не выдержит осады, в пух и прах разлетится.

Эти странные сны удручали его, много умных книжек прочитавшего. Получалось так, что всё это баловство – светлые сказки, мечты и надежды. Грандиозный Демон Разрушения тысячелетиями хозяйничает на этой Земле. И никто и ничто не указ ему, не командир. Что же делать? Какие опоры поставить для Великой Стены Просвещения, при помощи которой давно уже сдерживается натиск воинственной темноты?

И вдруг однажды крючки этих вопросов распрямились, перестали царапать душу и сердце. И перестали его донимать странные сны о Великой Стене Просвещения.

Лобастая голова Стародубцева, набитая прочитанными книжками, словно бы осталась на полях сражений, а вместо неё – прикрутили башку хладнокровного физика. Случилось это после контузии: в памяти образовалась гулкая дыра, похожая на чёрную дыру в просторах космоса, где гуляет ветер ледяной.

Внешне Солдатеич мало изменился после той контузии. Разве что глаза погасли – мальчишеский восторг пропал, и вся литература ушла на дальний план, уступая место боевому грозному железу.

До войны равнодушный к оружию, Стародубцев полюбил его на фронте, зауважал. Поначалу он души не чаял в своём танке, но вот беда: клаустрофобия к нему привязалась – боязнь замкнутого пространства. «Тридцать четвёрку» оставить пришлось. Он запрягся в пушку и до самого Берлина волочил её, родимицу, на своём горбу – лесами, болотами, реками. Тяжко было, но ничего: стерпится – слюбится. Крепкий, верный, умный механизм. Как не любить? Лишний раз после боя хотелось погладить её, спасительницу, похлопать по ляжкам, по-бабьи раскинутым, по разогретому жерлу. И смазкой нетерпелось накормить её, как самой вкусной кашей. Сытое, холёное орудие в бою всегда тебе «спасибо» скажет. Это, брат, закон, тут не ленись, тут лучше не доспи, не докури. Сколько нерадивых полегло возле своих лафетов и станин? А Стародубцев потому и уцелел, может быть, что любил и уважал оружие своё, как что-то живое, одухотворённое – и оно, должно быть, к нему прониклось тем же самым чувством.

Да, теперь он всей душой к оружию тянулся. Надёжно было с ним. Человеком себя ощущал. Не каким-нибудь завоевателем, которому охота сапоги помыть в чужих морях. Нет, он просто человеком себя чувствовал. Человеком сильным и уверенным, в любое время способным защитить себя, свой дом и вообще – всю Россию-матушку, всю Великую Русь.

И дорогого сына своего – хотя и не родного, но сердцелюбного – он воспитал как будущего воина, отважного защитника, способного терпеть и холод, и голод, понюхавшего порох и умеющего с закрытыми глазами разбирать и собирать такие игрушки, какие сверстникам его даже не снились.

И воспитание это скоро дало себя знать. Окончив школу, парень собрался поступать в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. И поехал он – только вагоны по-артиллерийски на прощанье загрохотали, убегая вдаль. И вскоре весточка пришла – Николик поступил.

«Да кто бы сомневался! – с гордостью и в то же время с грустью подумал Степан Солдатеич. – Теперь не скоро свидимся!»

Глава седьмая. Взрыв

1

Непривычно тихо стало в доме, сиротливо. И не только в доме – и на природе. Не с кем теперь было Солдатеичу «ягоды-грибочки» собирать в окрестных полях и в лесах. Как-то слишком быстро «ягодное» время пролетело.

Кажется, только вчера они тут бродили, ночевали под зелёными шатрами соснового бора, впотьмах насторожённо смолкающего. Здешняя природа, за полвека уже отвыкшая от выстрелов, от разрывов, всё ещё не верила покою. Здешняя природа по вечерам – заметил Стародубцев – как будто голову насторожённо втягивала в плечи, замирала до утра, затаивалась, в любой момент готовая всполошиться вороньим карканьем, уханьем филина, унылым и протяжным волчьим.

Здесь даже белка в бору двигалась короткими перебежками, то и дело останавливалась, черноглазая посматривала по сторонам, словно хотела обнаружить снайпера. Здесь даже дятел, точно опытный стрелок, осторожно гвоздил по сухому стволу и вдруг замирал – голова в малиновом берете на несколько мгновений застыла на отлёте. А вслед за этим дятел стремительно кидался куда-то в тёмную чащу, непонятно чего испугавшись. И точно так же могла себя вести другая птица. И точно так же вели себя зайцы, косуля и даже волк, бесстрашный вроде бы, хозяином себя ощущающий.

Светлая роса на стебельке, пчела или шмель на цветке – всё живое здесь отчего-то вдруг содрогалось или шарахалось по сторонам. Отчего это здесь? Почему?

Видно кровавые тени из прошлого блуждали там и тут, бродили неприкаянные призрачные души убитых, но не похороненных воинов. И русские солдаты, и фашисты – все они когда-то были «человеками», как говорил Солдатеич. И все они должны быть преданы земле по-человечески. И покуда этот горестный обряд не совершится – здешняя природа так и будет насторожённо жить и спать вполглаза, вздрагивая от собственной тени.

Именно об этом Стародубцев рассказывал парнишке, когда они бродили по лесам, по болотам, где затонула чёртова уйма оружия, перемешанного с солдатскими косточками. Но куда охотней – с увлечением и наслаждением – Солдатеич рассказывал и показывал, как разводить костёр одною спичкой; как находить съедобную траву или коренья; как можно погоду по закату солнца предугадывать; как ориентироваться по звёздному небу; как можно время узнать по цветам.

«Нынче всё это ему пригодится!» – думал Стародубцев, уже в который раз утомлённо-тёплыми глазами лаская фотографию бравого парня, одетого в новую форму десантника – Николик недавно прислал.

Тосковала душа по нему. Изболелась. Солдатеич даже сам не думал, что так сильно прикипит к названному сыну – нестерпимо больно отрывать. Но что поделаешь, когда пришло время, неумолимое и не остановимое.

«Вот тебе и время! Полное беремья!» – размышлял Солдатеич, доставая трофейную немецкую луковку, с боков потёртую до покраснения – то ли позолота, то ли медь. – Время летит как пуля, а часы – ежели они сломались – это вроде как отстрелянная гильза».

Он осторожно встряхивал трофей и подносил к тёмно-красному уродливому уху, посечённому шрапнелью. Сердечко механизма начинало заполошно чакать, но тут же и замолкало. Чёрным, крепким ногтем, изломанным в работе, Солдатеич постукивал по циферблату, вздыхал, вспоминал часовую мастерскую в окрестностях Берлина.

Артиллерийский снаряд почти прямой наводкой шарахнул тогда в мастерскую, и часы, которых там было десятки и сотни – разлетелись пташками чёрт знает куда. И чего только не было под сапогами русского солдата! И первоклассный люксовый «Hublot» – язык сломаешь – будильник с морским дизайном, с каучуковыми ремешками. И часы прославленной компании Chopard, которая на губах советского солдата звучала как «Жопард» – знаменитые хронометры с технологией «плавающих бриллиантов»; драгоценные камешки в таких часах свободно двигаются между двумя сапфирными стёклами циферблата. Были там и швейцарские часики Жан-Жака Бланпа – старинная швейцарская марка, под которой первые часы пошли в 1735 году. Были и другие, более древние и более роскошные. Самые хорошие часы – это уж как водится – достались командирам Красной армии, а солдатам всё остальное, что уцелело. Богатство это советский воин – поначалу с неохотой, с капризом – менял на сапоги, на чистое бельишко, а позднее отдавал за пачку махорки, за пайку хлеба. А Степан Солдатеич сунул эту луковку в походный вещмешок, да и забыл. И только много позже луковка взблеснула под рукой, когда копался в сидоре. И тогда уже смекнул он: чем дальше от границы, тем ценней становится трофейная хренотель; значит, скоро она вообще превратится в золотой самородок. Ну, вот и хорошо, сгодится на чёрный день. Подумал он так и забыл про тот «самородок», валяющийся где-то в тёмной кладовке.

Года два назад эти часы обнаружил Николик, перебирая многочисленные хозяйские хохлячки.

– Не идут? – спросил он, с любопытством рассматривая. – Не дышат. Стрелку не колышут.

– Всё, видно, вышли из строя, – без сожаления ответил Стародубцев. – Так долго они шли, так точно топали – от самого Берлина стучали каблуками день и ночь.

Руки у парня большие, разлапистые – часы утонули в ладонях, когда Николик внимательно стал изучать под увеличительным стеклом.

– Какое-то клеймо – в виде фазана, – пробормотал, качая головой. – Миниатюрный полумесяц и вроде бы корона.

– Что за фазан? Что за корова?

– Корона! – засмеялся Николик. – Корова тут не поместится, батя. Эх, сейчас бы мне хороший инструмент! Я, конечно, не тульский Левша, да только ведь и это не блоха.

– Сиди! – Стародубцев отмахнулся. – Часовой нашёлся! – Не часовой, а часовщик.

– Вот-вот. С такими медвежьими лапами только медвежатником работать.

– Ну, а что? – развеселившись, подхватил Николик. – Это мысль. Я, правда, хотел пойти в десантники, но если батя наставляет на путь истинный.

– Отставить! – нахмурился батя. – Шуток не понимаешь? А через несколько дней Стародубцев узнал, что Николик, проявляя недюжинное терпение и упорство, наладил-таки этого немецкого фазана. «Вот это часовой, так часовой! – Стародубцев был поражён. – Такими лапами только танки останавливать в бою, а он, гляди-ка, мастер. Как покойный папа Николай Чирихин».

Прошло, наверное, месяца два после отъезда сына, когда Солдатеич опять вспомнил про часы, достал и огорчился: не идут, хоть выбрасывай или в музей отдавай – там такие штуки собирают.

Ногтем постучав по циферблату и неоднократно встряхнув под ухом, Стародубцев решил пока часы не отдавать на свалку истории. Он всё думал, что вот-вот Николик на каникулы приедет погостить – пускай посмотрит; может, наладит.

Странно было то, что Солдатеич – даже сам себе не признаваясь – любил эти немецкие часы. Хотя любил, быть может, не часы, а молодость, с этими часами связанную. Но как бы там ни было, а всё же любил. Видно, и в самом деле: от любви до ненависти – шаг. И тот же самый шаг в обратном направлении – от ненависти до любви. Такая вот мудрёная шагистика.

Дожидаясь Николика и постепенно теряя надежду на скорую встречу, Стародубцев однажды подумал: «А часы поломались не зря!» Почему он так подумал? И что значит – не зря? На эти вопросы он бы не смог ответить вразумительно, однако сердцем чувствовал, что так оно и есть. Новое какое-то время подступало.

«И что это за время? И с чем его едят? – пожимая плечами, сам себя испытывал Степан Солдатеич. – Хрен его знает!»

2

Раноутренней порою, на излёте погожего лета Стародубцев, уходя из дому, остановился на краю огорода и посмотрел на буйные заросли хрена – около прясла, где всегда было солнечно. «Хрен его знает? – с улыбкой подумал. – Может, и знает. Но молчит, партизан».

Настроение было в то утро – Солдатеич запомнил – на редкость безоблачным, благостным. И погода выдалась великолепная. Заканчивался август, пока ещё сухой, голубоглазый. Но скоро в полях и в лесах засентябрит. Серебротканым инеем вышитые утренники из туманов станут подходить под окна. Холодными огнями на ветрах гулко распожарятся деревья, травы. И ударит, может быть, последний гром – артиллерийское эхо колёсами раскатится на километры.

И сердце опять беспричинно заболит, защемит, затревожится в преддверье Куликовской битвы – 8 сентября. Солдатеич сам не знал, что такое с ним приключается в эти дни и ночи. Он видел какие-то странные сны, посвящённые Мамаеву побоищу. Видел даже Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. И совсем уже было невероятно то, что он видел себя самого – среди русского войска, сражавшегося с татарскими ордами.

Вот так он шагал в то далёкое предосеннее утречко, вспоминал свои причудливые сны, вспоминал недавние походы с голубоглазым курским соловьём.

Хорошо было в чистых и тёплых полях, где уже почти сгорело лето красное, но земля ещё цвела последним цветоносом, сверкала золотистым травяным узором. И хорошо тут особенно по утрам, да к тому же если человек не суетлив, умеет посмотреть на мир полными глазами, полным сердцем чувствует покой и пробуждение земли. Идёшь себе и дышишь полной грудью, аж сердце сладко ломит – утренний воздух ароматный, вкусный. Хорошо, да только было бы лучше, когда бы человек тот знал, куда ведёт его кривая стёжка. Хотя, конечно, от судьбы не увернёшься, какую бы дорогой ни пошёл.

Судите сами: Великая Отечественная давно закончилась, отгрохотала, а вот поди ж ты – немецкая противопехотная мина оказалась на пути у старого солдата. Сколько лет пролежала она, эта стерва, проспала в земляной темноте; сколько лошадиных табунов прокопытило мимо неё; сколько прошло рогатого скота, под музыку пастушьей дудочки толкущего землю; сколько тут прогремело тяжёлой техники в железных башмаках, когда начинали распахивать и засеивать эту ковыльную пустошь – и ничего, всё было тихо-мирно. Как будто специально кто приберегал этот подарочек для Стародубцева. Правда, «подарочек» тот изрядно подпортился – мина частично утратила убойную силу, но всё-таки ещё зубастая была, собака. И, слава богу, «Волга» проезжала мимо.

Глава восьмая. Мечта на колёсах

1

Невероятная роскошь советской эпохи – легковая машина. Пускай даже какой-нибудь «горбатый», как прозвали «Запорожца». Пускай даже «Москвич». Всё равно это – престиж, авторитет и гордость. Ну, а если «Волга» – белая или чёрная – это уже как будто предел мечтаний, дальше которых в то время было трудно фантазировать.

Вот такую «мечту на колёсах» приобрёл Пустовойко Семён Азартович – молодой, породистый мужчина с крепким подбородком, с треугольным покроем ноздрей, с голубовато-серыми глазами, способными азартно вспыхивать.

Отец его, Азар Иосич, почётный гражданин Москвы и Старгорода, несколько лет назад скончался, но имя и связи отца всё ещё срабатывали, вот почему молодой Пустовойко сумел так быстро и выгодно приобрести «мечту на колёсах». Это была модель 2410, 402-й движок с форкамерным усиленным блоком, но с обычной головкой под 92-й бензин. Такие редкие двигатели для ГАЗ 2410 делали только на экспорт или в спецгаражи, которыми пользовались только большие начальники.

Зверовато урча, «Волга» катилась по главной дороге из областного центра в районный центр. Дорога была не ахти какая, но всё же попадались ровные участки, словно громадным утюгом разглаженные – с ветерком промчаться можно.

Впереди опять был отличный перегон, недавно заасфальтированный.

– Притормози, – сказал владелец новой «Волги», – он сидел на месте пассажира. – Сам хочу попробовать.

Машина остановилась.

– Прошу! – улыбаясь, пригласил шофёр, молоденький, весёлый, с кровавой каплей комсомольского значка на костюме. Проявляя суетливую услужливость, он выскочил наружу и дверцу распахнул перед начальником. – Машина – зверь. Так и рвёт из-под себя, так и мечет!

– Машина – это человек, – назидательно сказал начальник и, похлопав по капоту, неожиданно спросил: – А почему я не вижу оленя?

Вихрастый водитель посмотрел в сторону леса. – Не понял. Вы про какого оленя?

Пустовойко машинально волосочек выдернул из треугольной, розовато раздувавшейся ноздри.

– Ты не помнишь, наверно, или не знаешь. Был на «Волгах» зверь такой – никелированный рогатый олень на бампере.

– А-а! – Водитель причесал пружинистый вихор. – Этого зверя убрали. По технике безопасности. Дело в том, что когда «Волга» с пешеходом сталкивалась – олень рогами людей бодал.

– Жалко, – сказал Пустовойко, непонятно о чём сожалея, то ли о том, что оленя с капота убрали, то ли о том, что люди страдали от игрушечного оленя. – Ну, ладно, поехали. Я сяду за руль.

Эту «мечту на колёсах» Пустовойко из областного города перегонял в район, где работал по партийной линии. Жил он пока в Миролубихе, но в скором будущем планировал переехать в райцентр, там ему уже квартиру выделили.

Оказавшись за рулём, Семён Азартович заволновался. Глаза азартно вспыхнули, когда машина, послушно отзываясь на акселератор, неожиданно резко рванула вперёд.

– Тихо, дядя, тихо, все уедем! – сам себе сказал Семён Азартович и расхохотался от странного ощущения: как будто он только что выпил. – Хороший движок, говоришь? И сколько можно выдавить из этих лошадей?

– Сколько на спидометре написано. Все двести. – Попробуем? А?

– Так ведь она ещё не обкатана.

– Вот мы и обкатаем! – Начальник подмигнул и снова засмеялся, точно похваляясь мраморным блеском зубастого рта. – Или ты боишься?

– Нет. Машина-то ваша. Но я бы так сразу движок не стал нагружать. Надо постепенно.

Поначалу Пустовойко медленно поехал, но азартная кровь разгоралась. Нарастивая скорость, он всё больше увлекался, потешно выпучивая глаза и высовывая кончик дрожащего языка.

Навстречу полетели предосенние луга и перелески. Ветер запосвистывал в приоткрытом боковом окне. Стрелка спидометра полезла вверх, а затем стала клониться ниже, ниже – в сторону ста двадцати километров. Дорога впереди была пустая, только лужицы взблёскивали разбитым зеркалом, да время от времени какие-то птички взлетали с дороги, где они собирали, должно быть, зерно, упавшее с грузовиков, надсадно вывозивших тучный урожай. Мелкая живность – мошкара и муха, редкая бабочка – иногда врезались в лобовое стекло, расплывались разноцветными пятнами.

– Поехали! – подражая Гагарину, закричал Пустовойко, ощущая себя в кабине космического корабля. Скорость хмелила, скорость веселила. И вдруг...

2

Солнце над полями на несколько мгновений вдруг померкло – словно чёрное раскидистое дерево поднялось невдалеке. Или как будто нефтяной фонтан ударил – метров на пять и поднял сизое дымное облако.

Белая «Волга», виляя задом и противно повизгивая тормозами, остановилась.

– Это что такое? – насторожённо спросил Пустовойко. – Вон там. Не видел?

– Извините, – шепотом сказал шофёр, – я в другую сторону смотрел.

– Там что-то шарахнуло.

– Где? Вот там? Не видно. Может, показалось?

– Нет. Не показалось. – Пустовойко вышел из машины и, глядя в поля, повторил по слогам: – Не показалось.

Вихрастый парень тоже следом выскочил.

Они постояли на прохладном ветру, помолчали, глядя в ту сторону, где только что земля фонтаном хлестанула в небеса. А через минуту-другую до них долетел слабый запах тротила.

– Скорей всего, мина сработала, – догадался Пустовойко, шевеля ноздрями с треугольным вырезом.

– Мина? – Шофёр изумился. – Откуда?

– Ты живёшь тут без году неделя, а нам это дело знакомо. Здесь чего только нет. – Приставая на цыпочки, Семён Азартович покрутил головой. – Интересно, кто там наступил?

Неподалёку – россыпью – бродило стадо.

– Корова, наверно, – подсказал водитель, – вон пасутся. – Ладно, если корова. А ну, пошли.

Водитель сделал шаг, другой – и замер.

– Семён Азартович! А вдруг мы наступим на мину? Пустовойко оглянулся, недовольно сверкая глазами. – Ты на дерьмо коровье не наступи. А за всё остальное не бойся. Пошли, сказал.

Шофёр не хотел, а всё же поплёлся, стараясь шагать по-волчьи – след в след.

Завернув за красновато-жёлтые ракизовые кусты, Пустовойко увидел ошмётки развороченной земли, головёшками разлетевшиеся по сторонам. Подбитая сорока лежала на траве, трепетала окровавленными крыльями, не в силах подняться, и широко раскрытым, диким глазом пялилась на приближавшегося человека. Белые перья и снежинки-пушинки трепетали на сухих и жёстких стеблях кровохлёбки, словно оправдывавшей своё название – трава эта минуту назад хлебнула горячей крови, долетевшей брызгами. Дальше стояли ещё два раскидистых ракизовых куста с поломанными верхушками – ветки висели на древесной коже, красноватой, полупрозрачной.

Походка Пустовойко была с подвывертом – от отца досталась. Раздвигая кусты, он замедлился. Потом присвистнул.

– Ох, ёлки! Это как же тебя угораздило? – Он склонился над человеком. – Да это же, помоему, сосед мой. Стародуб. Ну, что? Надо грузить.

– В этих случаях, – робко напомнил шофёр, – лучше не трогать. Нас так учили по технике безопасности.

Человек, наступивший на мину, лежал в неловкой, нелепой позе, широко раскинув руки и подвернув под себя левую ногу. Хрипловато дышал, слабо морщился. И помутневшим взглядом убегал куда-то в голубую бездну небосвода.

– Куликово, – прошептал он, – поле, поле...

Пустовойко не расслышал.

– Боли? Ну, естественно. Будет боль, ещё бы! – Он повернулся к шофёру. – Берём! Ты что, оглох?

– Так это... – Водитель скоротился. – Он же всю машину вам уделает. Вы посмотрите, какая кровища.

– А может, тебе в морду дать? – прикрикнул Пустовойко, раздувая треугольные ноздри. – Или ты передумал работать со мной?

Через несколько минут «Волга» врубила жёлто-молочные фары, круто развернулась, взвизгивая протекторами, и понеслась в районную больницу – километрах в пятнадцати от Миролубихи.

Глава девятая. Жизнелюб и книголюб

1

Актёр провинциального театра Иван Рассохин был прирождённым, безнадёжным пессимистом – на лице забронзовела маска трагика. И потому лучше его никто в провинции не мог сыграть Отелло, громopodobным басом грохоча: «Молилась ли ты, Держиморда?» Именно так он однажды сказал перед тем, как «задушить» свою партнёршу по сцене.

И что тогда творилось в зале, какой стоял хохот – словами невозможно передать.

Кроме таланта трагика, Рассохин обладал талантом находить общий язык с людьми: возьмёт поллитру и подкатит к режиссёру, слабому насчёт рюмахи – и опять актёр прощён, помилован, хотя ещё недавно был приговорён к «расстрелу».

И опять он мог себе позволить вольную трактовку классической трагедии.

Рассохин был трагик по жизни – пришибленный, караваем судьбы обнесённый. Всем как будто по куску досталось, а ему, бедолаге, не дали ни крошки. И никакого просвета в жизни его не предвиделось.

И вдруг однажды Иван Рассохин решил пойти судьбе наперекор.

И случилось это – в день рождения сына.

– Я ночь не спал, всё думал, – сказал он жене поутру. – Давай назовём – Жизнелюб.

– Кого? – удивилась жена.

– Ну, не меня же. Мальчонку нашего. – Жизнелюб? А разве есть такое имя в святцах?

– А разве есть на белом свете такой парнишка? – резонно ответил муж. – Разве он не единственный в своём роде? В нашем, то есть, роде.

Друг друга любили они – папа с мамой, поэтому долго не спорили. Жизнелюб, так Жизнелюб. Жизнеутверждающее имя.

Примерно так гласит семейное предание – не такой уж и далёкой старины. А другое предание или, точнее сказать, древняя мудрость напоминает: как вы свой корабль назовёте, так он и поплывёт.

Жизнелюб Иванович Рассохин по житейскому морю поплыл легко и весело – сначала в тёплой зыбке, потом в моторной лодке – городок находился на тихой реке. А затем уже поплыл на пароходе – из древнего русского города по окончании школы он перебрался в Москву, поступил в институт. И школа, говорят, далась ему играючи, и медицинский институт не особо напрягал, поскольку он – глазами и улыбками искрящийся Жизнелюб – горячо полюбил свою будущую профессию. И это, конечно, заметили, когда он, молодой специалист, начал работать в поте лица своего – ассистенты, напряженно стоящие кругом операционного стола, только успевали пот вытирать со лба хирурга – Рассохин за время одной операции мог похудеть на три-четыре килограмма. Он брался за такие сложные, кровопролитные дела, перед которыми пасовали даже патриархи нашей медицины.

Безусый Жизнелюб Иванович рано в гору пошёл – успешно защитил диссертацию. И довольно рано стал занимать руководящие посты. А вместе с этим – как говорили в районной больнице – Рассохин рано «стал седины занимать». И седины и морщины прибавлялись после каждой операции – настолько велика была нервная нагрузка. Ещё в те времена, когда иконоборцы по стране свирепствовали, в операционной у него находилась икона Пантелеймона целителя. И не было пока что у Рассохина – тьфу, тьфу, тьфу! – и даст Бог, не будет ни одной операции с летальным исходом.

2

Больше трёх с половиной часов Жизнелюб Иванович оперировал, скрупулёзно вынимал осколки, рваные раны чистил и зашивал, сухожильные струны и струночки соединял на стопе. Паутину нервных окончаний связывал. Пустые, уже побелевшие сосуды и сосудики наполнял донорской кровью. Опытный хирург, он сделал всё, что мог в условиях районной больницы, которая заметно преобразилась, когда Рассохин стал главным врачом. Только один операционный блок чего стоил – капитальный ремонт в этом блоке не делали, наверно, лет пятнадцать. Жизнелюб Иванович настоял на ремонте, «выбил» деньги из областного бюджета. И после этого операционный блок преобразился: появилась новая мебель, энергосберегающие лампы, белоснежная плитка на стенах. А главное, чем гордился Рассохин, в случае какой-нибудь аварии в райцентре операционная будет со светом ещё десять часов – поставили автономный источник электроэнергии. Хотя, наверно, это и не самое главное. Медицинское оборудование оставляло желать лучшего. Всё упиралось в деньги. И приходилось только мечтать, когда же наконец-то в районную больницу поступит современный микро-инструментарий, который имеется на вооружении специалистов Москвы, не говоря уже о зарубежных клиниках. Раньше зарубежные хирурги видели сосуды, увеличенные в три-четыре раза, а теперь у них на службе интрамикроскоп, позволяющий делать увеличение аж в тридцать раз.

Стародубцев смутно помнил операцию. Халаты какие-то белели сугробами. Что-то звенело, брякало – осколки вынимали, бросали в таз. Время от времени выныривая из наркозного омута, он думал, что всё это происходит на передовой, в военно-полевой, наспех поставленной палатке, где нет нормальных условий для операции. И хирургические лампы, глазасто и ярко горящие, казались копилками, сделанными из артиллерийских снарядов.

Примерно через сутки, когда больной очнулся, главный врач рассказал, как прошла операция.

– Всё хорошо, а могло быть и лучше, – говорил Рассохин, – был бы тут приличный зарубежный микроскоп, так мы бы вас заштопали – завтра хоть танцуй.

Старый солдат посмотрел на свою ногу, спелёнатую свежими бинтами и словно обсыпанную крупными раздавленными ягодами, уже подсохшими.

– Ничего, и так сойдёт. – Он поморщился. – Вот угораздило.

– Да-а! – Главный врач покачал головой. – Пустовойко сказал, вы наступили на мину?

– Нет, на коровью лепёху. – Больной усмехнулся, поцарапал крепкий подбородок, успевший густо ошестиниться. – Сколько лет она, курва, там пролежала. Как, скажи, специально меня караулила.

– Судьба! – Жизнелюб Иваныч развёл аккуратно ухоженными руками, какие бывают только у хирургов или музыкантов.

– Судьба, мать её, – согласился больной. – Это хорошо, что я, старый конь, подорвался. А если бы кто молодой? Представляешь? Всё хозяйство взлетело б на воздух. Так что нету худа без бобра.

– Без добра, вы хотели сказать? – Без бобра.

– Ну, что ж, пусть будет так. – Рассохин подумал, что старый солдат заговаривается. – Это хорошо, что вас ещё заметили на «Волге». Привезли.

– Меня, сынок, повсюду замечали – и на Волге, и на Днепре.

– Весёлый человек вы, Степан Солдатеич. Это хорошо, скорей поправитесь.

– Хорошо, конечно. Мне повезло.

– Да что вы говорите? Не дай Бог – везение такое. – Нет, Жизнелюб Иваныч, ты не понял. Когда мина взрывается – нога, на неё наступившая, обычно отрывается на х... – Больной покашлял. – Ну, в общем, до колена, короче говоря. А что происходит с другою ногой –

это уже зависит от того, как ты шёл или бежал. Можно и второй ноги лишиться. А кроме этого – ударная волна вышибает сознание и вгоняет в задницу остатки башмаков. Вот так-то. А у меня – сам видел – как-то обошлось. И получилось это, скорее всего, почему, что я наступил не на мину, а на камень, который под землёй лежал на этой проклятушей мине. Так что меня зацепило только осколками камня. Вот я и говорю, что повезло.

– Не знаю, не знаю. – Врач был не согласен с таким «везением». – Хорошо, что Пустовойко поблизости оказался, а иначе...

Вы просто могли бы скончаться от болевого шока, от потери крови. А зачем вы, простите, пошли на поля? Что искали?

– Счастье. – Стародубцев криворото хмыкнул. – Я там каждое лето ходил и ничего, а тут...

Он простонал и отвернулся – голова ещё от слабости кружилась.

– Ладно, отдыхайте. – Главный врач собрался уходить. – Как ваше сердце? В порядке?

– Моё дело правое, – многозначительно сказал Солдатеич. – Ты ведь знаешь, сынок.

– Ну, как же не знать. Я второго такого ещё не встречал.

3

Старого солдата главный врач давно уже запомнил по той причине, что у него, у Стародубцева, была транспозиция внутренних органов – *situs inversus* – так называемое зеркальное, то есть «обратное» расположение внутренних органов: сердце было с правой стороны, желудок тоже справа, печень слева. Такие уникальные экземпляры попадаются – один на сотни тысяч. Рассохин о подобной транспозиции только в медицинских учебниках читал в институте, а тут в реальной жизни встретил человека; Стародубцев пришёл тогда на ВТЭК – врачебно-трудовую экспертную комиссию.

– Моё дело правое! – не без гордости сказал он, когда речь зашла о сердце с правой стороны. – Знаешь, сынок, что в библии написано? «Сердце мудрого – на правую сторону, а сердце глупого – на левую». – Это где же написано? – В Екклесиасте.

– Не читал, не знаю, – признался Рассохин. – Скажите, а у вас аппендицита не было?

– Бог миловал. Тока грыжу на фронте заработал от пушки. – А как это – от пушки?

– Заразился грыжей от неё, – горько пошутил старый солдат. – В ней, в родимце, стока пудов, что не дай бог. А почему ты, сынок, про аппендицит спросил?

Рассохин стал просвещать.

– Зеркальное расположение ваших органов может привести к замешательству, так как большинство признаков и симптомов будут находиться на «неправильной» стороне.

– Мудрёно как-то, Жизнелюб Иваныч. Ты мне попроще...

– Ну, например, если у вас разовьётся аппендицит, вы будете жаловаться на боль в левой стороне нижней части брюшной полости, так как именно в этом месте у вас находится аппендикс. А вообще-то он – справа.

– Да хрен бы с ним, с аппендиксом! – Солдатеич потыкал пальцем в грудь себе. – Ты лучше скажи, как там насчёт осколка?

– Что, беспокоит? Трудно жить с войною в сердце? – Рассохин посмотрел на рентгеновский снимок. – Этот осколок лучше не вытаскивать. Так надёжней, а то мало ли чего. Начнём вынимать и хана. Были такие случаи.

– Ну, что ж, пускай живёт, – неохотно согласился фронтовик. – Я уже с этим осколком вроде как подружился. А на самолётах, считай что, не летаю.

– А самолёты причем? – Так там же спецконтроль.

– А-а! – догадался доктор. – Значит, звоните?

– Ну, да. Как музыкальная шкатулка. Однажды к боевому товарищу летал, дак меня до трусов разголили.

Такие разговоры затевались в кабинете главного врача, когда Стародубцев приходил на ВТЭК – один раз в год. Степан Солдатеич недолюбливал эту врачебно-трудовую экспертную комиссию, которая существовала больше для проформы, как ему казалось. Человек без ноги, например, без руки ходит на ВТЭК, а эти умники сидят такие суровые, такие серьёзные – каждый год устанавливают «наличие и степень инвалидности, постоянную или длительную потерю трудоспособности». Как будто ноги или руки, оставшиеся на фронте, фантастическим образом могли отрасти за тот год, покуда инвалид не приходил на ВТЭК. Ну, что смеяться-то? Что издеваться? Зачем фронтовика гонять по кабинетам – терапевт, хирург, невропатолог? Он уже набегался, этот фронтовик, дайте ему отдохнуть. Нет, каждый год одно да потому, одно да потому. Ну, сколько можно?

После операции оказавшись прикованным к больничной койке, Стародубцев думал с горькою усмешкой: «Вот уж поистине, нет худа без бобра. В этот год я отвертелся от комиссии, да так удачно отвертелся, прости, господи, чуть помидоры не оставил на полях...»

В больнице ему пришлось кантоваться так долго, что просто ужас. Уже и не думал, что выберется домой. Прямо отсюда – думал – на могилки сволокнут, наверно.

Первое время, покуда был ослабленный и беспробудно спал, Стародубцев не особо замечал того, что происходит в палате. А когда поправился немного – стало невозможно терпеть шум и гам, суету и диковатое веселье всех этих «друзей по несчастью». Бесконечный храп на койках раздражал. Пустопорожняя болтовня. Карточные игры. Домино. Анекдоты и юморок – зачистую ниже пояса. И многое другое, что бывает при скоплении трёх-четырёх мужиков, страдающих хроническим бездельем.

– Жизнелюб Иваныч, – тихонечко взмолился фронтовик во время очередного обхода, – положи меня отдельно. Хоть в коридоре. Хоть на полу. Иначе я с ума сойду с этими гвардейцами. Я и сам когда-то мог быть Васей Тёркиным и даже Стенькой Разиным. А теперь охота отдохнуть.

Рассохин не очень уверенно пообещал подумать, а через день перевёл в отдельную палату – появилась такая возможность. А когда перевёл, удивился ещё одной просьбе больного: тот попросил позволения, чтобы жена не только к нему приходила, но и пожила бы здесь, в палате.

– А какая уж такая необходимость? – спросил главный врач, недовольный тем, что дал слабинку. – Если были бы вы не ходячий.

Разволновавшись, Стародубцев вприщурку посмотрел на него.

– Да дело в том, что ей... Жить-то ей, сынок, мало остаётся. Дак хотелось бы вместе побыть.

– Мало? А с чего это вы взяли? – Доля сама говорит. Сердцем чувствует. – Ну, знаете ли, это ещё не показатель.

– Пускай не показатель, но пускай она маленько тут побудет. Да и вам со мной мороки меньше. Долюшка – она ведь медсестра. Будет ухаживать.

– Хорошо, – неохотно согласился Рассохин. – Хотя не положено, в общем-то.

– Ну, как же не положено, когда я тут лежу? – скалambuрил Стародубцев, скрывая лукавинку, сверкающую в глазах. – Спасибо тебе, доктор, за понимание. И поклон тебе за то, что сердце мхом не обросло. У меня тут с Долей совсем другая доля будет. Честно.

И через несколько минут после этого разговора, когда Солдатеич едва закимарил, медсестра заглянула в палату, сказала, что к нему приехала жена.

«Чо-то быстро, – удивился он, протирая глаза, – прямо как в сказке!»

В палату вошла высокорослая женщина. Гостинцы положила на тумбочку.

Стародубцев посмотрел на бледное лицо, исчерченное морщинами, и не сразу распознал: перед ним стояла Марфута-Переpravница. Та самая Марфута, с которой он по молодости едва не согрешил на сеновале – хотел, чтобы ребёнка родила. Марфута была безнадежно влюблена в Стародубцева. Так влюблена, что даже травилась из-за своей несчастной любви. То ли укус выпила однажды, то ли ещё какую-то гадость. Марфуту спасли, откачали, но отравы дело своё сделала. Красота Марфуты – кровь с молоком! – год за годом стала вянуть. Какое-то время настырная баба хотела правдами и неправдами разрушить чужую семью, отвоевать Степана Солдатеича. А когда поняла, что не сможет – у неё ума хватило подружиться с Долей Донатовной, чтобы иметь возможность приходить к Стародубцевым, лишний разок посмотреть на Солдатеича.

С трудом приподнявшись на скрипучей кровати, он хмуро покашлял в кулак.

– Ты чего эта, баба? Женою решила прикинуться? – Прости, – залепетала женщина, теребя концы платка. – Пришлось прикинуться, а то бы не пустили. Да я не нарочно пришла. У меня тут дедушка хворает.

– Это кто? Дед Кикима? Тысячелетник? – Стародубцев неожиданно повеселел. – А что с ним? Холодной водки выпил и простудился?

– Простудился, только не от водки. Рыбалил, да в воду упал. Солдатеич улыбнулся. Ног-
тями щетину царапнул. – Ладно, хорошо, что пришла, а то я, как этот, как сирота казанская.

Марфута присела на край постели, придвинулась поближе. И стало видно, как она постарела за эти годы, пока не виделись. И постарела, и подурнела. И только глаза у неё сверкали огнём золотым. Любила она Солдатеича. Да так любила, что слёзы на глаза наворачивались, когда смотрела на него, когда робко и воровато пыталась погладить жилистую руку мужика.

– Ну, всё, Марфута, всё, ступай, а то мокруши заведутся от твоей мокроты. И передай привет Тысячелетнику. Скажи, что я завидую ему. – Солдатеич тихо засмеялся. – Это надо же! На сто втором годочке холодной водки тяпнуть и простудиться. Даже завидно.

4

После приезда жены больничная палата преобразилась, даже посветлела, как будто в ней включилась большая дополнительная лампочка. Жена привезла чистое постельное бельё, майку, рубаху, домашние тапочки, бритву, папиросы и всякие другие причиндалы, какие муж просил. Но главное – то, что изумило главного врача – женщина притарабанила полную авоську нетленной русской классики: Пушкин, Толстой, Тургенев, Чехов, Достоевский.

– А я и не знал, что вы книголюб! – во время обхода сказал Рассохин, правда, сказал он это с лёгким недоверием.

– Ты – Жизнелюб, а я – книголюб! – сурово ответил Стародубцев и, немного помолчав, перешёл на доверительный тон. – Эх, доктор, дорогой мой! Ты удивляешься? Да когда бы ни война, дак я бы стал учителем. Языку детишек бы учил, литературе. Любил я это дело. Шибко любил. Ну, что теперь об этом говорить?

Изредка заглядывая в палату, выходящую на солнечную сторону, Рассохин отмечал идеальный порядок и чистоту, какую наводила трудолюбивая скромная Доля.

Отмечал Рассохин и другое: старый солдат всё больше спал по причине слабости здоровья. Спал, засунув под подушку то одну, то другую непрочитанную книгу – он только картинки в них смотрел, а прочитать не мог чисто физически. Даже в своих лупоглазых очках Степан Солдатеич книжный текст уже почти не разбирал – главный врач это прекрасно знал, но виду не показывал. Более того, Рассохин всякий раз старался поддержать «книжные» беседы, какие затевал вдруг Степан Солдатеич.

– Вот Платонов, – говорил он, грубыми пальцами поглаживая книгу. – Хорошо заметил. Прямо не в бровь, а в глаз.

– И что же он заметил?

Стародубцев смотрел в потолок, вспоминал.

– Если мужик войны не знал... Или нет, не так. «Когда мужик войны не видел, то он вроде нерожавшей бабы – идиотом живёт». – Степан Солдатеич вздохнул с надрывом. – Ой, как точно. Так точно, что ты даже представить не можешь, сынок.

– Не могу, – согласился Рассохин. – Я ведь тоже – вроде нерожавшей бабы. Войны не видел.

Фронтовик спохватился.

– Ну и слава богу! И не надо! – Стародубцев брал другую книгу. – Вот Лев Толстой. Могучий был старик. Да только перегнул маленько палку.

– Где? Какую палку?

Стародубцев открывал «Войну и мир».

– Ну, вот взять хотя бы эпилог. Зачем так долго жевать мочало? Так и охота сказать – иди в баню.

Старательно пряча улыбку, Рассохин слушал критику старого солдата и удивлялся тому, что действие великого романа – по словам Стародубцева – разворачивалось не на Бородинском поле, а поле Куликовом.

– А вы не перепутали два русских поля? – осторожно спросил Рассохин.

– Да как же я спутать могу? – Степан Солдатеич даже обиделся. – Как я спутать могу, когда я там однажды бывал?

– Где? На Бородинском поле? – Зачем? На Куликовом.

Главный врач задумался, насторожённо глядя на больного. – И что же вы там делали?

– Воевал. А что ещё там русский солдат может делать? Картошку сажать?

– Ах да, конечно. – Рассохин смутился. – Вы извините, я пойду. Дел по горло.

– А кто тебя держит? Иди! – как-то спокойно и запросто сказал Стародубцев, как может сказать человек простодушный или внутренне очень свободный.

Глава десятая. Землетряска, дьявольская пляска

1

Случилось это в полночь, когда больной так сладко задремал после укола – небольшая доза обезболивающего подействовала на него, как стакан хорошей водки. Мир покачнулся перед глазами и вздрогнул так, как будто землетряска по всему земному шару прокатилась.

Доли Донатовны в ту ночь в палате не было – уехала домой, бельишко постирать, в бане сполоснуться. И потому Стародубцев до утра лежал в недоумении: то ли приснилось ему, то ли взаправду хорошенько тряхонуло?

Рано утром приехала Доля Донатовна – взволнованная, бледная. Она подтвердила печальную мысль о землетрясении. Но теперь уже и так – без подтверждения – было понятно, что произошло. При бледном утреннем свете стало заметно: стена и потолок в палате треснули, рассыпав штукатурку яичной скорлупой. Стекло в окошке лопнуло. И даже на полу образовалась такая кривая трещина, какую можно увидеть весной накануне ледохода-ледолома. И совсем уже дико было увидеть за окном последствия землетрясения, а точнее сказать – самую малую толику.

Под окнами образовался овраг, безобразным чёрным порезом уходящий куда-то вдаль, за поваленную ограду.

Степан Солдатеич был удивлён, потому что знал эти края, как благонадёжные – сейсмостойчивые.

– Это ж не Япония какая-то, – рассуждал он. – Не у подножья Везувия мы с тобою живём. Что за чудеса такие приключились?

– Чудеса, так чудеса, – как-то странно и многозначительно откликнулась Доля Донатовна.

И в душу Солдатеича в эту минуту вдруг закралось непонятное сомнение и даже подозрение в том, что ему всей правды почему-то не говорят.

Время шло, и сомнения с подозрениями только усиливались. И раздражение вслед за тем нарастало в душе Стародубцева, который не мог разобраться в своих ощущениях. Жене своей он верил безоговорочно, и даже мысли не допуская, чтобы она его в чём-то обманывала. И тем не менее...

2

Погода понемногу стала барахлить – осень приближалась. Желтухой заболевшие деревья столпились под окнами больницы, будто пришли на приём, только пришли не все – многие попадали от землетрясения.

Небо над районом нахлобучилось – облака и тучи грузно потянулись, брюхами едва не задевая крыши. Иногда весь день мокропогодилось. А когда подсыхало – широко вскипали ветры-листодёры. Потянулись на юг караваны тоскливо кричащих, будто подстреленных птиц. Прохлада за больничными стенами крепла день ото дня. Листва с берёз и клёнов кровоточила на подоконник, багровыми ладошками сырые окна лапала, к заборам прилипала.

Всё как будто шло привычным распорядком, давно заведенным. Но временами за окнами больницы ощущалось что-то необычное. Бог знает, почему, но что-то вроде бы сломалось в обыденной жизни. Да оно и понятно – землетряска, точно дьявольская пляска, повредила почву, поруку учинила там и тут. Но кроме этой внешней землетряски, дьявольской пляски,

подразумевалась землетряска внутренняя, стряхнувшая с насиженного места душу, сердце, мысли и привычки.

Внутреннюю эту землетряску трудно было объяснить словами – можно только почувствовать. Неуловимо, непоправимо что-то изменилось, кажется, не только в природе привычных вещей, но даже в повседневном, будничном воздухе. Но что? Что именно? Непонятно было Стародубцеву.

Долгое время ни с кем не общавшийся, кроме жены и главного врача, то и дело спавший на больничной койке, Солдатеич не сразу понял, какая землетряска произошла в стране. Он только почувствовал что-то неладное.

Никогда ещё в больнице не было так суетливо и шумно. По коридору вдруг проезжала каталка – в операционную. А в тихий час кто-то каблуками топотал, пробегая рысцою. Раньше этого не было.

И разговоры слышались теперь – громче тех, какие затевались вчера и позавчера. А в разговорах нередко повторялось одно и то же слово – «ПЕРЕВОРОТ».

Степан Солдатеич, пытаясь припомнить нечто худое, недавно приснившееся, приподнялся на кровати. Посмотрел на окно, где стеклина лопнула после землетрясения.

– Доля! – хриловато окликнул жену. – Кто там, где перевернулся? Чо молчишь?

Она вздохнула, не умея лгать. Глаза опустила. – Перевернулся? Да там на машине один...

– А кто? Кто такой?

– Да какой-то, говорят, – Доля назвала фамилию. Покачав головою, он вяло опустился на подушку. – Не знаю такого.

– Ну, и ладно. Спи, давай, Стёпушка. Сил набирайся. Он поверил жене, закимарил. А через несколько минут содрогнулся.

– Фу-у! – заворчал. – Сон какой-то...

Доля подушку поправила. – И что приснилось?

– Да что-то там... Не вспомню. Дай попить.

Графин сверкал на столике. Доля принесла стакан воды, в котором солнечный свет колыбался разбитым яичным желтком.

– Ну, мало ли что нам приснится, – успокоила женщина. – Не в этом дело. Воздух стал какой-то, как перед боем, – Стародубцев ноздрями повёл. – Я помню, какой он бывал, когда надо идти в рукопашную или когда на тебя прёт штуки три «Фердинанда», или «Тигры» выползают из засады.

– Вояка! – Жена кусочком ваты промокнула потный лоб Солдатеича. – Ты хоть помнишь, когда тебе какую облатку выпить? А? Воздух стал другой. Вот удивил. В этих больницах так всегда – не продохнуть.

– Не всегда! – заупрямился муж, задумчиво уставившись в окно. – Вчера тут воздух был другой.

– Вот заладил. Ну, так что? Кислородную подушку принести?

– А почему ты нервничаешь? – заметил Стародубцев. – Давно уже с тобою такого не бывало.

– С чего ты взял? Ни капельки. – Жена с ним говорила, отводя глаза, и это представлялось более чем странным.

Никогда она так не смотрела, как смотрела в последнее время – насторожённо, вскользя, а то и вовсе мимо. Степан Солдатеич не мог не обратить внимания на это. Только он, грешным делом, подумал, что Доля смотрит так по той простой причине, что ей уже маленько надоело нянчиться.

– Ты бы домой поехала, отдохнула. – Зачем? Я там недавно была. Я не устала.

И даже молчание было теперь между ними другое – не такое, как прежде. Тревожное молчание. Натянутое.

– А где Жизнелюб? Давно что-то не видно. – Стародубцев книгу вытащил из-под подушки. – Я уже соскучился по нашим посиделкам по литературе.

– Доктор уехал.

– Вот те раз! Куда уехал? – Солдатеич нахмурился, глядя на трещину, перечеркнувшую стену палаты. – Что случилось, Доля? Что происходит?

– Да ничего не происходит. С чего ты взял? – Ну, я же не слепой. Я вижу по твоим глазам.

– Ну, что ты видишь? – Доля натужно улыбнулась. – Я толком сама понять не могу.

– Что? – Он поймал её на слове. – Что ты не можешь понять?

Доля спохватилась – неуклюже стала выворачиваться. – Я насчёт доктора. Медсестра поначалу сказала, что он поехал в Москву. Проходить мудрёную какую-то... Ну, как её? Ордена там раздают. – Доля напряжённо улыбалась. – Ординатура по хирургии. Или ему там надо проходить интернатуру. А потом, потом...

– Ну, не тяни! – Солдатеич рассердился. – Где он?

– А я почём знаю? – Доля тоже начала сердиться. – Санитарка сказала, будто Рассохин взял отпуск без содержания и уехал по личным делам. Вот и всё.

Стародубцев помолчал. Уродливое ухо поцарапал.

– Да нет, не всё, однако, – пробормотал, закрывая глаза. – Не было письмишка от Николая?

– Нет пока, не было.

– Ну, конечно. Вырос. Мы теперь зачем ему сдались? – Стёпа, ну что ты буровишь? Приедет он. Никуда не денется. Обещал ведь.

– Улита едет, когда-то будет. Скоко уже времени прошло? Ворчал Стародубцев, но так – для порядку. Он прекрасно знал, что теперь Николик – взрослый, не по годам серьёзный и самостоятельный Николай Чирихин; приёмный отец сам настоял, чтобы у парня была фамилия отца настоящего. Крепкий телом и духом, Чирихин, поступивший в Рязанское Высшее воздушно-десантное командное училище, поначалу в гости частенько приезжал – такой красавец, такой жених, что девки по всей округе табунами за ним хороводили. Но скоро приёмный сын всё реже и реже стал заглядывать в Миролюбиху. Мотаться начал по каким-то «горячим точкам» – по служебным командировкам, откуда солдаты порой возвращались в цинковых гробах под кодовым названием «груз 200». Приёмные родители грустили, скучали и тревожились за него, особенно Доля Донатовна. И Стародубцев тоже волновался, но, в общем-то, он был спокоен за сына, в котором очень рано дал себя знать характер настоящего бойца.

3

Забор, поваленный землетрясением, рабочие поставили на место. Чёрный овраг, безобразно протянувшийся поперёк двора, удивительным образом потихоньку срастался, как срастается живое тело человека, нарушенное порезом или ожогом. И только в нескольких местах, где ещё зияли опасные провалы, рабочие построили дощатые мостки.

Чахоточным цветом в больничном садочке доцветала, дозревала поздняя осень. Холодно, стеклянно голубели небеса, точно покрытые леденистой глазурью. Последние листья порхали разноцветными бабочками. Время от времени осень безутешно рыдала ливнями. Всё за окном расплывалось, как после поллитры хорошей водки, но потом погода вновь «трезвела». По ночам уже заметно заминусило – первый утренний иней присаливал горбушку заржавлено-ржаной покатою крыши, видневшейся в окне напротив. Сосульки серебряными сергами цеплялись за ветки. Снегири багряными сгустками крови сверху откуда-то «капали», картинно качались на ветках, позванивая в тишине и срываясь на мёрзлую землю, неудобную в пору предзимья, свинцово-чугунную. Хотя иногда «отпускало» – солнце проступало в тёмных тучах

и в нагромождении белой ваты пухлых облаков. Солнце натужно краснело и, прорываясь в дыры, отчаянно поблёскивало негреющим светом.

– Значит, уехал Жизнелюб? – тоскливо уточнил Стародубцев. – И до сих пор не вернулся?

– Нет пока, нету, – вздохнула жена. – Говорят, что новый доктор скоро будет исполнять обязанности главного врача.

Где-то вдалеке загрохотало. Отголоски осенней грозы прокатились над крышами – будто метлой смахнули стаю голубей. Птицы дружно встали на крыло и стремительно, косо проплыли возле больничного окна.

Этот грохот, похожий на выстрел пушки, заставил Стародубцева встряхнуться. Он поднялся, босую ногу на пол опустил. (Вторая нога находилась в чулке из бинтов).

– Где костыль? – Зачем тебе?

– А затем, что мы с тобой, Доля Донатовна, будем съезжать с этой казённой квартиры.

– Как это «съезжать», когда ты ещё не долечился? – Хватит. Я уже молодцом себя чувствую.

– Ага. Молодец против овец. – Жена поправила седые волосы, выпавшие из-под косынки. – Лежи. Надо ещё один курс лечения пройти.

– Я не курсант, чтоб курсы проходить. Торчу тут, как этот... – Он посмотрел на дверь. – Ты почему никого не пускаешь ко мне? Костыль куда-то всё время прячешь.

– Тебе нельзя ходить.

– Не выкомуривай. Жизнелюб когда ещё сказал, что ногу надо постепенно нагружать. Надо ходить, растаптывать.

– Лапти будешь растаптывать. Лежи, давай. Куда тебе? По девкам шастать?

– Здравсте! Ты что это взъярилась? А поговорить мне? Покурить с мужиками.

– Тут кури. Я окошко открою.

Он застыл на несколько мгновений. Усмехнулся. – Да что ты говоришь? Я не ослышался?

– Нет. А что с тобой делать? Дыми. Лучше бы, конечно, заразу эту бросить, но если невтерпёж, так что поделаешь? Дыми.

«Чудно всё это и неспроста, – недоумевал он, доставая пачку папирос. – Раньше гнала меня курить, куда подальше. Теперь – окно открою. Или уж так изменилась она, сердцем чуя, что жить недолго? Странно. Чтоб не сказать – подозрительно. Такое ощущение, будто она оберегает меня от чего-то».

Стародубцев уже хотел закурить, но тут вошёл в палату новый доктор. Не вошёл, а вкатился как белое облако в тепло-малиновых бликах зари – такая у него широкощёкая, здоровьем пышущая физиономия.

Глава одиннадцатая. Бурдакрович

1

Новый доктор, исполняющий обязанности главного врача, Гавриил Харитонович Бударкович, ещё в студенчестве получил это странное прозвище – Бурдакрович.

Студенты говорили, будто в жилах у него бурда, а не кровь – на практических занятиях невозможно было группу крови определить: то ли пятая, то ли десятая. Притом, что их всего четыре группы.

Бурдакрович запоминался необыкновенно разными плечами. Левое было широкое. Правое – заметно заужено; в детстве поломал ключицу, срослась неправильно. И в силу этой разницы голова его казалась «отъехавшей» куда-то в сторону. И по этой же причине Бударкович ходил как-то боком. Левое плечо всегда вперёд, а правое сзади. И такое создавалось ощущение, как будто он правой рукой собирается сделать замах и треснуть кого-нибудь.

Кроме поразительной разницы в плечах новый доктор отличался красно-малиновой физиономией, сотворённой будто бы по циркулю. Чёрные глаза-горошины беспокойно постоянно бегали – признак натуры скользкой. Глаза были весёлые, искромётные. Неутомимый хохмач и любитель разыгрывать, Гавриил Харитоныч многим был известен как Гавриил Хахатоныч, незаменимый в студенческих капустниках, да и вообще в любом застолье. А ещё у него была слабость – прихвастнуть, блеснуть своей учёностью.

Вот, например, на вечеринке у кого-нибудь Бурдакрович знакомится с женщиной или пригласит потанцевать. Вальяжно, как завзятый ловелас, дамскую ручку возьмёт, галантно расцелует и вдруг начнёт внимательно рассматривать пальцы.

А там, у основания ногтя, можно увидеть крохотный светлый полумесяц.

Гавриил Хахатоныч удивлённо покачает головой и восхищённо скажет: «Какая, однако, у вас лунула чудесная!» Дамочка, краснея от смущения, на всякий случай промолчит, посмотрит на руку свою, на окружающих. Но никто ни сном, ни духом, что это за зверь такой – лунула. Или, к примеру, во время обхода он может спросить у больного: «Фосфены видите?» И человек становится бараном, который пялится на новые ворота – на этого нового доктора. Человек не знает, что фосфены – это очень даже просто – пятнышки света, которые можно увидеть, закрыв глаза и надавив на глазные яблоки.

А иногда Бударкович мог поставить в неловкое положение такую фразой: «Таблицу умножения мы уже выучили. Таблицу Менделеева освоили. А как у нас дела с таблицей Снеллена? Не знаете такую таблицу? Странно. У вас такой учёный вид...» Весёлый человек он был, короче говоря, этот Гавриил Хахатоныч. С таким не соскучишься.

Приступая к утреннему обходу, новый доктор – как будто в пику старому – пошёл по другому маршруту. Жизнелюб Иванович обход начинал с трудных больных, понимая, что за ночь у них могли появиться проблемы, которые нужно решать в срочном порядке. А Бурдакрович обход начинал с палаты самых лёгких больных, которых он называл «одуванчики». С больными он держался уверенно, свободно и даже панибратски. Кому-то это нравилось, кого-то раздражало – на всех не угодишь.

Войдя в палату, Бурдакрович заговорил несколько игриво: – Здравствуйте, Степан Солда... гдеевич. – Он запнулся на редкостном отчестве. – Я ваш новый лечащий врач. Будем знакомы.

– А старый где? – уныло поинтересовался больной. – И я состарюсь. Дело наживное. – Бурдакрович разулыбливался, но как-то неискренне. – Так! Ну что? Как дела? Судя по анализам – всё о'кей. Одуванчиком станете скоро. Домой улетите.

– Кем я стану?

Доктор не ответил. Не любил повторять.

– О, какие серьёзные книги мы тут читаем. Похвально. – Он посмотрел на вторую, аккуратно заправленную кровать. – А кто у нас тут? Никого? – Тут жена.

В глазах-горошинах у Бурдакровича недоумение. – Жена? – Он белую шапочку нахлобучил на брови. – Чья жена?

– Моя, – промямлил Стародубцев, ощущая неприятное жжение под сердцем. – Она медсестра.

– Пардон, я не понял. Кто здесь лежит? Медсестра или жена? Тупо глядя на свою забинтованную ногу, больной сбивчиво, смущённо стал объяснять.

– Мы так договорились со старым доктором. – Понятно. – Бурдакрович улыбнулся. – А с новым доктором как вы договариваться будете? – Ну, как скажете.

– Хорошо. Разберёмся.

За дверями палаты Бурдакрович стёр улыбку – холёной рукою провёл по губам и нахмурился. Войдя в ординаторскую, он вызвал к себе «на ковёр» кого надо и учинил разнос. Негромко, но твёрдо приказал медсестре, чтобы в сию же минуту она отыскала и в кабинет пригласила Олю Домкратовну, или как там её...

Седая и покорная Доля Донатовна вскоре пришла и, не ожидая ничего хорошего, молча постояла на пороге, неплотно прикрыв за собой дерматином оббитую дверь.

Доктор мельком глянул и опять что-то деловито продолжал строчить – перо поскрипывало. Ощущая непонятную неприязнь к Бурдакровичу, утомлённая женщина хотела опуститься на стул, но не решилась. Продолжая стоять у порога, она теребила свою толстую косу, давно уже «метелью занесённую».

Неподалёку висела таблица Снеллена – таблица для проверки остроты зрения. И Доля Донатовна поневоле стала проверять свою остроту, но вскоре в глазах замелькали разноцветные мошки, и от таблицы пришлось отвернуться. Облизнув пересохшие губы, женщина стала рассматривать ординаторскую, уже слегка изменённую – под стать изменившемуся времени.

На стене, где обычно висел портрет руководителя страны, виднелся еле заметный светлый квадрат пустоты, посредине которого после землетрясения прочертилась крестообразная трещина.

Пустота наблюдалась и в книжном шкафу под стеклом, где ещё недавно плечо к плечу стояли, годами пылились никому не нужные тома партийной литературы, вроде бы не обязательной, однако желательной в кабинете каждого начальника. Теперь такая надобность отпала. Хотя не у всех.

– Вы ко мне? – не поднимая головы, поинтересовался доктор, как будто в кабинете был кто-то ещё. – Что хотели?

– Дак это вы хотели. Я из палаты мужа. Стародубцева. Бурдакрович поставил точку в длинной писанине. Перстень с золотой печаткой покрутил на указательном пальце левой руки.

– Оля Домкратовна, или как вас, простите? Посторонним в палате нельзя находиться.

– Да какая же? – Губы её задрожали. – Какая же я посторонняя? Да он, если узнает, что случилось, он помрёт.

– Что-что? Вы о чём это?

– О том, что сотворилось. В державе-то у нас. Поигрывая фонендоскопом, доктор едва не присвистнул от изумления.

– Так он что же? Не знает ещё? Ну, так рано или поздно всё равно узнает.

– Только не сейчас! – умоляла Доля Донатовна. – Он ещё слабый! За ним надо ухаживать!

Доктор выслушал её, стараясь не замечать, как сильно постарело мокрое от слёз, желтовато-бледное лицо.

– Ну, хорошо, – сурово снизошёл он, без надобности глядя на какую-то бумажку. – Можете ещё немного с ним побыть. Вы действительно медсестра?

– Была. На фронте.

Они помолчали. В животе у Доли Донатовны вдруг заурчало от голода.

– Коллиубл, – машинально сказал Хахатоньч.

– А? – Доля Донатовна прижала руки к животу. – Что? Глаза-горошины повеселели.

– Я говорю, вы можете побыть с ним. Правда, больница у нас переполнена. Любое койко-место на счету.

Всю ночь Доля Донатовна провела – как на иголках. Ей всё казалось: придут и выгонят. Но ничего, Бог милостив. Не приходили пока, не выгоняли.

При очередном обходе улыбка Бударковича заметно укоротилась, и он уже без прежнего энтузиазма расспрашивал о самочувствии фронтовика. Да и расспрашивать-то было бесполезно – Стародубцев неожиданно замкнулся. Только молчал он не потому, что не хотел разговаривать – не мог он пока объяснить, что происходит, что за контузия.

Взрывная волна в то далёкое утро в полях подкинула его так высоко, что он увидел угасающее солнце рядом с собой. Ощущение было знакомое, только забытое. Такие странности однажды Стародубцев пережил на фронте во время страшного ранения, оказавшегося едва не смертельным. Впервые тогда в подсознании Степана Солдатеича открылся какой-то потрясающий «прострел». Мысль его, душа его, как будто прострелили времена и пространства, и он вдруг себя увидел умирающим на поле Куликовом. Увидел с такой изумительной ясностью, что сомневаться не приходилось – это действительно было когда-то с его душой, бессмертной душой русского воина. Молодой он был тогда, во время первого ранения, выносливый, двухильный. Теперь, конечно, силы далеко не те – Стародубцев это понял, когда начал подниматься с больничной койки. Теперь контузия была странная какая-то.

– Чёрт её знает, что за контузия, – пожаловался он жене. – Никогда про такую не слышал.

– А что такое, Стёпочка?

– Не знаю пока. – Он не хотел признаваться.

Вместо привычного красного знамени – на крыше казённого здания, видного из окна, – Степан Солдатеич недавно вдруг обнаружил бело-сине-красное полотнище, трепетавшее на ветру. Крепко зажмурившись, глянул опять – и всё равно в глазах рябило сине-бело-красною волной. Он испугался – чуть костыль не выронил. Помотав головою, как лошадь от мух, он сердито заковылял от окна. Но через минуту вернулся – опять посмотрел. Нет, не проходила странная болячка. Знамя оставалось бело-сине-красным.

Степан Солдатеич промучился тогда, наверно, суток двое. Не мог понять, не мог глазам поверить. Поначалу помалкивал, надеялся на лучшее. Потом пришлось признаться:

– Зрение стало шалить. Раньше была у меня куриная слепота. Ты же знаешь. Как её? Генерала пиво? Или как зовётся?

– Гемералопия, – подсказала фронтовая медсестра. – Вот-вот. А теперь не куриная, а чёрт её знает, какая! Я вот смотрю на наше знамя и не пойму...

Доля Донатовна послушала мужа и горько заплакала. – Может, ещё ничего, может, красное будет опять. – Будет, конечно. Надо просто переждать. Мозги, видать, свихнулись после взрыва. Только врачам не надо говорить, а то начнётся. Опять будут таблетками грузить, уколами накачивать.

Но время шло, а зрение, увы, не улучшалось, и Степан Солдатеич решил открыться доктору.

Жена отлучилась куда-то на минуту-другую и Стародубцев подумал: «Сейчас будет обход, я расскажу. Наука такая теперь, что из гроба могут поднять. Врачи на Филиппинах режут без ножа. Мужики говорили в курилке».

2

Собираясь делать обход, Гавриил Хахатонич скрупулёзно изучал рентгеновские снимки ступни фронтовика. И чем дольше рассматривал, тем больше поражался таланту Жизнелюба Ивановича. «А если бы мне довелось? Ампутировал бы, да и всё!» – эта мысль колола ему голову, точно медицинская иглолка, забытая в накрахмаленной шапочке.

Бурдакрович даже снял, в руках помял белую шапочку. Он отгонял от себя эту мысль, он убеждал себя, что тоже смог бы сделать такое чудо, какое сотворил Рассохин. Но где-то в глубинах, в тайниках подсознания сидела другая мыслишка: Рассохин гений, а он, Бударкович, серая, унылая посредственность. И сколько ещё такой серости сидит по больницам – по всей стране. И зачастую никто им не предъявит претензий. Каждый врач может сказать, как говорили древние: «Я сделал всё, что мог, а тот, кто может лучше – пускай попробует!» Вот если бы не было тут Жизнелюба Ивановича, а был бы только доктор Бударкович – старому солдату оттяпали бы ногу и все дела. И Бударковича совесть не грызла бы, нет, потому что он действительно сделал бы всё, что может. В меру своих сереньких способностей. И так – везде. И так – во всем. На безрыбье и рак рыба. А если нет хорошего хирурга – коновал сойдёт за Склифосовского.

– Стоп! – Он отодвинул рентгеновские снимки и ладонью шлёпнул по столу. – Что-то меня сегодня на лирику растащило. Как институтскую барышню.

Машинально поправляя на руке новенький перстень с золотой печаткой, Бурдакрович остановился перед зеркалом в ординаторской. Оглядел себя. У него был странный ритуал. Примерно так же, как повязывают стерильную маску перед операцией, Гавриил Хахатонич перед обходом улыбку повязывал на свою краснощёкую физиономию – кончики этой повязки-улыбки скрывались где-то за ушами. И никто не знал, как дорого, как трудно эта улыбка достаётся новому доктору во время обхода. Бурдакрович подспудно раздражался практически в каждой палате, потому что кто-нибудь да вспоминал о прежнем докторе. То молодой больной, то пожилой – все они как сговорились – в одну дуду дудели: «А Жизнелюб Иваныч мне советовал, а Жизнелюб Иваныч прописал...»

Раздражение, скопившееся в душе, искало выхода и неожиданно выплеснулось – как масло в огонь.

– Ну, как наши дела? – поинтересовался Хахатонич в палате фронтовика. – Смотрю, вы уже наступаете на всю ступню. Скоро можно плясать.

– Ох, не знаю, не знаю, – загоревал Солдатеич. – Как бы дуба не дать Стародубцеву.

– А что? Что такое? Анализы у вас, я посмотрел, хорошие. – Да причём тут анализы? – Больной двумя руками отчаянно сдвигал рогульку деревянной тросточки. – Хреново дело, доктор. Я молчал, всё думал, рассосётся.

Бурдакрович ненадолго перестал моргать. – Рассосётся? А что рассосётся? В чём дело?

– Немецкая мина, видать, перетряхнула мозги. С глазами что-то, мать их. Цвета не различаю.

– То есть, как не различаете? Совсем? Дальтонизм?

– Да не совсем. В том-то и дело. Вижу цвета, но не все. – Стародубцев тросточкой потыкал в сторону окна. – Вот что это за флаг? Серо-буро-малиновый с прокисью? Да? А ведь должен быть красный! Это ведь даже ребёнку понятно!

Удивлённо приоткрывши рот, Хахатонич выслушал больного и ухмыльнулся впопыху, прикрываясь ладошкой.

– Да-а, тяжелый случай. Прямо скажем, неординарный. – И что теперь? Как быть? – Стародубцев вздохнул, протирая глаза.

Доктор, глядя за окно, где развивался флаг, сокрушенно покачал головой, «отъехавшей» в сторону от левого широкого плеча. Он, безусловно, понимал, что это не капуста и надо бы точку поставить в дурацкой шутке, но видно, сказался характер хохмача и любителя розыгрышей.

– Будем лечить! – сурово заявил. – Клизму придётся делать!

– Ну, конечно! – Стародубцев возмущённо взмахнул деревянной тросточкой. – Такой позор на старости годов я не допущу!

– Дело ваше, – согласился Хахатоныч. – Может, само рассосётся. Давайте-ка мы с вами так договоримся. Вот как только увидите красное знамя на крыше, так мы вас и выпишем.

– Мать моя родина! – воскликнул Солдатеич и шарахнул тросточкой об пол. – А вдруг не увижу?

Доктор утешил:

– *Dum spiro spero*, – изрёк по латыни. – Пока дышу – надеюсь.

Оказавшись за дверью, Хахатоныч от изумления покачал головой и разинул краснотубый свой хохотальник – едва сдержал веселье, кипящее в груди.

Широкими шагами – боком-боком, как только он умел – Бурдакрович направился в ординаторскую, где в это время надрывался телефон, едва не подпрыгивая на столе. Доктор трубку взял. Чёрные глаза-горошины взволнованно стали кататься в глазницах.

– Хорошо, – твёрдо сказал. – Замётано. Я скоро буду. Заскрипела дверца сейфа. Бурдакрович взял коробку с морфием. Прихватил шприцы для внутривенных уколов. Пинцеты, скальпель. Постоял, подумал, катая горошины глаз по ординаторской. Прихватил ещё на всякий случай несколько тёмно-жёлтых ампул, похожих на патроны. Проворно снял халат и натянул демисезонное пальто цвета индиго – что-то среднее между тёмно-синим и фиолетовым. Это пальто из стопроцентной шерсти, было такое модное и дорогое, что не всякий мог себе позволить. И машина, в которую сел Бурдакрович, была дорогая, не каждому по карману.

3

Петляя переулками, в которых все ещё виднелись следы землетрясения – овраги и канавы – Бурдакрович подъехал к деревенскому бревенчатому дому, более чем скромному. Но рядом с этим домиком – уже после землетрясения – успешно возводился «барский особняк», так про него шептался тутошний народ, проходящий мимо.

Хахатоныч загнал свою машину в гараж во дворе и торопливо пошёл куда-то.

Неподалёку под клёнами ждал громоздкий чёрный джип с таким большим крестом на лобовом стекле – хоть на могилку ставь.

Перед ним услужливо распахнули дверцу. Доктор молча сел на заднее сидение и удивился тому, что произошло в следующий миг. На глаза ему надели плотную повязку, говоря при этом, что так, мол, будет лучше, чем меньше знаешь, чем крепче спишь.

«Детективов начитались, – слегка обеспокоившись, подумал Бурдакрович. – Хотя такие жмурики читают мало или вовсе не читают».

Он оказался в машине дерзких и отчаянных парней, которые два дня назад в соседней области грабнули банк, но не совсем удачно. Охранник одного налётчика убил, а главаря продырявил. Пуля прошла навывлет, не зацепила кость, но проблемы всё же появились. Вот почему эти парни вышли на доктора Бурдакровича, который уже выручал кое-кого в подобных ситуациях.

«На циферблате истории, – высокопарно думал Хахатоныч, – время вот таких отчаянных парней и не помогать им было бы глупо. Хватит наивничать, крутить вола, надо открыто признаться: в настоящее время в стране происходит самый простой – естественный отбор, в котором побеждают только сильные. Теорию Дарвина никто ещё не отменял. Слабаки должны

уйти. Без вариантов. А мы что делаем? Создаём тепличные условия для недоношенных детей, совершенствуем коляски и протезы для тех, кто не имеет ни рук, ни ног. Скоро нормальным людям негде будет жить, а мы над этими калеками трясёмся».

Хороший путь остался позади. Поехали по стародорожью, давно уже разбитому, ливнями размытому и сильно порушенному землетрясением.

Колдобистое, кривоколенное стародорожье, наконец-то, закончилось – дорогу застелило коврами хвои. Косматая сосновая ветка мягкой лапой шаркнула по чердаку машины. Потом заняли тормоза. С доктора сняли чёрную повязку.

– Живодёр, – сказал сидящий за рулём, – с вещами на выход.

Под раскидистыми ёлками стояла кривобокая избушка – издалека не заметишь. В низком окошке мелькнула чья-то физиономия, и тут же на пороге появился парень, такой громадный, что в избушке ему нужно было стоять на коленях или ходить в три погибели. Громила пригласил гостей вовнутрь, а сам остался за порогом – посторожить.

В избушке накурено, душно, поленья в печи потрескивают. Автомат без рожка возле печки стоит. А на кровати в углу разметался бледный парень, смазливчик в белой помятой рубаше, испятнанной петухами засохшей крови.

Усталый, но довольный «живодёр» домой возвратился под вечер. Карманы дорогого модного пальто оттягивали пачки новёхоньких купюр, плотно перетянутых банковскими лентами. На душе было радостно, хотя и тревога подсасывала. Патрульная машина, проехавшая мимо, даже вызвала панику в голове. Возникло вдруг такое ощущение, что «чёрный воронок» затормозит сейчас и доктора повяжут.

Усмехаясь над своими страхами, Бурдакрович завернул в престижный магазин, прикупил два литра виски – про запас. Добротной закуской зарядил холодильник. Тяпнул стаканчик и сразу все тревоги, все проблемы – побоку. Счастливым себя почувствовал. Принял душ. Побрился. Надушился. Постоял перед зеркалом и подмигнул отражению в барском не застёгнутом халате – мужское достоинство было достойным кисти Рембрандта. «Или кто там у нас умел эти штучки ваять на холсте? – попытался припомнить доктор. – Я где-то читал, будто Гитлер по молодости любил голых мужиков живописать».

Скинув барский халат, Хахатонич поиграл мускулатурой, поцарапал внизу живота и подумал, что он, холостой и здоровый, как бык, сейчас имеет право на тёлочку забраться.

Он позвонил кое-куда и пригасил «на чай» молодую, смазливую медсестричку. Правда, она в этот час была на дежурстве, но разве это может помешать высокому и пламенному чувству? Разве она в силах отказать человеку, исполняющему обязанности самого главного врача на белом свете? Так, между прочим, говорила она сама, эта смазливая фифочка.

Выходя из больницы, она едва не столкнулась с каким-то незнакомым человеком, напористо идущим навстречу, – того и гляди, чтобы не затоптал.

Это был Рукосталь, по каким-то делам уезжавший в Карелию и только сегодня вернувшийся.

Глава двенадцатая. В мире темноты

1

Карелия. Край заповедных чудес. Светлоокое озеро. Светлооструйная река. Здесь он родился – Святослав Капитонович Рукосталь. И родился он в таком волшебном месте, где жить бы ему, не тужить, по утрам умываться росой, по вечерам слушать сказки поморов; зимой на собачьих упряжках кататься; подкармливать зайцев, косулю; весной встречать караваны перелётных гусей, громко гомонящих в небесах. Целыми днями сидеть бы ему с удочкой на берегу светлооструйной реки или пречистого озера, в котором живут русалки, венки плетут из лилий, похожих на отражение созвездий, зацветающих ввечеру. Беспечно бродить бы ему по лесам, берестяные туеса наполнять россыпями ягод: костяника, черника, морошка. Но больше всего приглянулась ему поленика – дикая северная ягода. В июне, в июле начинает угольками разгораться вдоль болота на влажных полянах, а поспевают к августу. Поленика-ягода такая духовитая да вкусная – за уши не оттянуть.

Поленика эта, украшенная резными тройчатыми листочками, в сердцевине которых подрагивали дробинки-росинки, ягода с волшебным ароматом ананаса, запомнилась, наверно, потому, что мама её любила. А папка, тот любил покосы. И парнишка тоже полюбил. Отец ему даже игрушечные вилы смастерил – сено скирдовать.

– Святославка! Ну, какой с тебя скирдун? – смеялся батя. – Гляди, пупок развяжется!

– Где? – Святославка, хлопая глазками, потешно задирает рубаху на загорелом плоском животе. А папка в это время – цап его за нос.

– Попался, который кусался.

Так бывало на травокосах. Каждое лето – хотя бы денёк или два – жили под открытым небом в шалаше.

Отец работал лесником на Боровом Кордоне. В хозяйстве у них имелось два скакуна. Выгребая «добро» из-под лошади, батя каламбурил иногда:

– Наши скакуны горазды не скакать, а скакать. Лошадей Святославка любил. Годков с четырёх уже ездил охлюпкой – голым задом хлюпал верхом на рысак. Возле дома на кордоне коней нужно было сажать на аркан или ноги спутывать, чтоб не убежали, а на покосах трава высокая, кони стояли, как спутанные волосьяными путами, блаженно чуфыркали, окунувши морды в густотравье.

Любо-дорого было на тех покосах. У костра ночевали, встречали рассветы, обсыпанные росами, околдованные туманами, в которых спросонья копыта вдруг покажутся громадной косматой башкой и поневоле вспомнится батю прочитанная сказка – бой Руслана с головой. А после травокосов у них было полно другой работы. Лесник хлопотал день и ночь кругом Борового Кордона, спешил до холодов управиться с делами неотложными. Затем приходила зима, одуванчиками плавали первые снежинки – запомнились такие крупные, каких никогда не бывало в природе. Потом опять весна дышала нежным дыхом. Солнце тонкими лучами, слово спичками, чиркало по снегу под окнами, и начинались белоснежные пожары, от которых в полдень слёзы градом, – так слепила снеговья, отчаянно зеркала. Святославка скидывал зимние доспехи и улепётывал из дому. Слушал песни глухарей на токовище. Наблюдал за бобрами. Любовался на обыкновенную гагару, так называется она, хотя на самом деле необыкновенная – за тёплый свой пух шибко ценится.

Жизнь улыбалась ему, и казалось, так будет всегда. Но судьба улыбку стёрла – в одночасье. Нареченный Святославом – звонкое, светлое имя – он рано оказался в мире темноты, в царстве тёмной славы.

В детстве полыхнула перед ним первая людская кровь – родная кровь отца и матери огненно-красными цветами поленики-ягоды разбрызгалась на Боровом Кордоне. От этой крови, от вида её и тошнотворного запаха мальчонку в тот день рвало несколько раз, наизнанку выворачивало так, что сознание терял. Запомнилась какая-то скрипучая телега, долго и нудно тащившаяся куда-то через тёмный лес, борогато обросший бледно-зелёными мхами, нависающими над лошадиной дугой. И тёмный тот угрюмый лес – вчера ещё сказочный, населённый добрыми духами – пугал, грозил, но не столько зверями, сколько людьми, способными зарезать. И ягоды, встречавшиеся во многих местах на обочине, казались брызгами засохшей, загустелой сукровицы.

Был вечер, когда пацанёнка привезли в детский дом на окраине города с пугающим названием Медвежьегорск. Тревожная, томительная ночь давила душу. Звёзды под окошком сверкали – скалились ножами. Месяц над горами заострялся – кривое лезвие пытался спрятать в тёмной пазухе деревьев. Месяц, разбойник, на цыпочках подкрадывался к детскому приюту, будто зарезать хотел.

А поутру детдомовский какой-то дуrolей, выдававший себя за атамана, за предводителя мелкокалиберной шпаны, громко воскликнул в столовке на завтраке:

– Здорово, недорезанный!

– А ты кто такой? Недобитый? – Святославка алюминиевую чашку с манной кашей с размаху надел на башку атамана.

Воспитатели кое-как разняли их, на горох поставили по разным углам, но это не помогло. Хоть на горячие угли поставь – «недорезанный» и «недобитый» драться будут теперь каждый раз, как только встретятся.

В детском доме Святославка стал меняться, как в той сказке, не по дням, а по часам. Взять хотя бы глаза парнишки. От рождения синие, до краёв зачерпнувшие карельского неба, глаза эти скоро слиняли, как в буквальном смысле, то бишь, выцвели, так и в переносном – убежали. Глаза убежали из детства, когда ему было лет пять с половиной.

Медвежьегорский детский дом неспроста называли берлогой. Там была не детвора, а медвежата. Каждый себя норовил проявить сильным и грозным зверёнышем: рычал и показывал зубы.

Из детдома он вышел с характеристикой самого отчаянного ухаля; про таких там говорили – ухорез. Но если бы кто-то внимательно к нему присмотрелся, могли бы заметить одну особенность. Внешне это был угрюмый, толстокожий парень, грубый, разбитной, развинченный, не признающий никакого ключа, который мог бы гайки в нём завинтить. А внутри всегда настороже сидело болезненное чувство справедливости, тонкое, почти звериное. И если рядом что-то было «не по правде», Рукосталь был совершенно непредсказуем – стальные руки применял, где надо и не надо. А руки были у него – кулаки такие, что надо раскулачивать, как сказал один остряк на Ладогe.

Какое-то время он шастал по берегам пресноводного озера Нево, больше известного, как Ладожское озеро. Помогал поморам строить лодки по чертежам – голова у парня хорошо кумекала. Разбираясь в паутине чертёжной грамоты, он скоро выучился рубить и строгать карбасы, лодки-осиновки, лодки-двинянки, соймы. Особой любовью одаривал шняки – одномачтовые лодки под прямыми парусами.

– Далеко пойдёшь, – скупно, но чистосердечно хвалил старый мастер, похожий на кудесника с клюкою, с белоснежным венником поморской бороды, настолько буйной, что если бы её пустить на паклю – десятки лодок можно основательно прошпаклевать.

Большое будущее парню улыбалось. А он возьми да попадись на воровстве плотницкого инструмента. Хотел продать, пропить – душа просила. На первый раз простили, а дураку неймётся. Ну, и загремел он за решетку. Начались этапы, лагеря. Правда, сидел недалеко, почти

за огородами – в родимой глуши. А затем война. Штрафбат. Искупление кровью вины перед Родиной.

«А кто искупит кровь моих родителей? – терзался обозлённый Рукосталь. – Так и не нашли тех сволочей, которые устроили бойню на кордоне!»

Озлоблённость глубоко в него засела, как ледяная заноза – выстудила сердце, душу обсыпала игольчатым инеем. Озлоблённость эта – может, сознательно, а может, подсознательно в каждом бою толкала на подвиги. Он был, как юный пионер, – всегда готов. Он лез под пули. Он шёл в разведку, наплевав на минные поля. Но странное дело – пули воробьями чирикали над ним, а клюнуть не решались. И минные поля он проходил – как Христос по воде.

– Заговорённый! – стали шептаться за спиной. – Святослав! Что ж вы хотите? – велеречиво говорил Стародубцев. – Святая слава слышится в старинном этом славянском имени. И проплывают, граждане, у нас перед глазами – старгородский князь, великий князь киевский. И где-то там, за ними, возвышается глыба нашего старшины – тоже Святославом нарекли, на святую славу обрekli.

В таком примерно духе Солдатеич подтрунивал над старшиной. На фронте они подружались, побратались, и Купидоныч не обращал внимания на скалозубство друга. А все остальные в открытую шутить над старшиною не решались – зубоскалку может повредить.

В середине января 1943 года старшина Рукосталь – точно так же, как все другие старшины советской армии – получил новые погоны, которые тут же окрестили «погоны с молотком»; красно-малиновый, точно кровью обмазанный старшинский знак различия – если глянуть сверху – был похож на молоток с длинной ручкой.

– Ну, теперь я буду фрицев заколачивать, как гвозди! По самую шляпку! – угрюмо говорил старшина, пришивая новые погоны, едва не ломая иголку в своих заскорузлых железоподобных пальцах.

– Этот заколдованный, – ворчал кое-кто в окопе, – сам лезет в пекло, и нас туда...

Заслышав эти разговоры, старшина сказал:

– Кота и зайца я тянуть за собой не собираюсь. Но и сидеть в окопах, за спины прятаться – никому не позволю. Я любую гниду чую за версту. Запомните. Со мной бесполезно в бирюльки играть.

Многие это запомнили сразу, когда посмотрели в глаза старшины – мрачные, с диковато-синими огнями, полыхающими в глубине зрачков. А тем, кто не понял, пришлось объяснять. Кому-то зуботычины было достаточно, чтобы труса не праздновать, не мародерничать. А кое с кем приходилось даже разбираться при помощи оружия.

Одну такую «разборку» Степан Солдатеич запомнил на всю жизнь.

Это было в марте 1945 года неподалёку от Кёнигсберга. Артиллерия – бог войны – два часа долбила без передыху.

Вверх дном перевернули немецкий хутор, находящийся южнее Кёнигсберга. Бронетехнику из танково-гренадёрской дивизии «Великой Германии» раздербанили в пух и прах. И пошли советские солдаты через хутор, от которого осталось одно название. И вдруг – среди раздолбанной земли, среди дыма, огня и смрада – целёхонький домик стоит, словно игрушечный и словно заколдованный, ни царапки на нём.

Старшина, за приметив колодец, хотел напиться и вошёл на подворье – забор лежал в грязи. На пороге дома он увидел осколки разбитого зеркала – весеннее безоблачное небо кусками лежало, дрожало, отзываясь далёким раскатам орудий. Яблоневый сад, наполовину вырубленный осколками, виднелся около дома. Чудом уцелевшие деревья, почуяв приближение весны, уже вспухали почками, готовились белые цветы взметнуть, как белые флаги, чтобы сдаваться победителю на милость. Эта мысль промелькнула в мозгу и погасла в черном каком-то провале.

Память сохранила только обрывки, огненные вспышки. Всё началось с того, что где-то внутри «игрушечного домика» старшина услышал приглушенный крик и стон. Сапогами хрустя по ледышкам разбитого зеркала, он сделал несколько шагов по коридору – полутёмному, заставленному барахлом, приготовленным, как видно, для эвакуации. И откуда старшина делал эти несколько шагов, он уже понял, куда, к чему придёт.

В небольшой, весенним солнцем озарённой спальне он увидел зверя, сидящего верхом на полуголой, стонущей девчонке лет четырнадцати. Это был не зверь в буквальном смысле. Это был человек, офицер. Ощущение зверя возникло потому, что на стене возле кровати висел ковёр – роскошный германский ковёр, на котором зверюга взлохматился, разинув клыкастую полуведерную пасть. И вот эти две фигуры – человек и зверь – вдруг слились воедино в мозгу старшины. И в памяти внезапно вспыхнули кровавые воспоминания о том, что произошло на далёком Боровом Кордоне в Карелии. Там было что-то похожее. Там тоже были звери, над матерью глумились.

Рукопальник почти не помнил, как оружие выхватил, как перед глазами полыхнула красно-синяя молния, вслед за которой грянул гром и свинцовый град...

Он прочухался только тогда, когда рядом оказался Стародубцев.

В тишине утробно урчали где-то голуби. Ветер ветки ворошил за окнами. Немка, белокурая девчушка в изорванном платьишке стояла на карачках перед ним, по-собачьи смотрела в глаза и что-то бормотала, бормотала, как полоумная. На светлом разорванном подоле виднелась кровь – тёмно-вишнёвыми брызгами раздавленной ягоды поленики. Продолжая что-то бормотать, немка встала, но тут же упала – ноги не держали. Она заскулила, тихонько завывала и поползла в дальний угол, где блестело битое стекло от хрустальной люстры – точно горка синеватого льда.

А на полу скопытился какой-то офицер, нелепо раскинув руки, перекосив лицо с широко раззявленным ртом, где блестела золотая фикса – во рту словно застрял огромный крик, распиравший горло, не дающий сомкнуться костяному замку челюстей. Приспущенное галифе обнажило толстый белый зад, недавно исколотый иголками в медсанбате. Глаза офицера – широко раскрытые раскосые черносливины – уже стекленели, отражая крест оконной рамы и свет заходящего солнца. Красным шнурком от затылка струилась горячая кровь, будто клубок размазывался в голове, шевеля намокшие волосы, короткие, жёсткие, похожие на конскую подстриженную гриву.

Покусав пересохшие губы, старшина вяло посмотрел на Стародубцева. Вяло протянул свой пистолет.

– Гомоюн, – сказал бесцветным голосом, – можешь меня сдать.

Спрятав руки за спину, Стародубцев покачал головой.

– Ты уж как-нибудь сам. А я пойду. Меня тут даже не было...

Скользя по осколкам разбитого неба, отражённого в зеркале, Солдатеич вышел во двор. Передёрнул плечами. «Вот и не верь после этого, что разбитое зеркало – к смерти! – прозвенело в голове. – А старшине теперь хана, под трибунал пойдёт!» Однако через несколько минут старшина, повеселевший отчего-то, догнал Стародубцева и показал поддельные документы убитого. Этот ряженный офицер был один из тех, кого контрразведка давно уже искала по округе – СМЕРШ озверел, перетрясая и наших, и не наших; всё не могли изловить группу каких-то ловких диверсантов, орудующих под видом красноармейцев.

Бегло прочитав помятые бумажки, Солдатеич удивился. – Так тебе, выходит, не трибунал, а орден?

Рукопальник поморщился.

– Не тяни кота и зайца, догоняй наших бойцов. – А ты куда?

– А я на Валаам, грехи замаливать. – Уходя за кусты, старшина хохотнул. – Прохватило. Я ведь не железный.

2

И на войне, и в мирной жизни Рукосталь был человеком твёрдым, принципиально-преданным. И то, что Купидоныч до сих пор не навестил фронтового брата своего – более чем удивительно.

«Это куда же ты запропастился? С бабами своими, что ли, закрутился? Золотою стрелой Купидона стреляешь? Так ты уже как будто отстрелялся?» – размышлял Стародубцев, лёжа на кровати у больничного окна.

Лицо его было печальным. И вдруг он так задорно расхохотался – даже рот сам себе запечатал ладошкой, чтоб никто не услышал.

Солдатеичу вспомнилась одна развесёлая байка, с полгода назад рассказанная самим Купидонычем.

Шило в мешке не утаишь, говорил он. А золотую стрелу Купидона тем более. От этих стрел обычно пострелы нарождаются. Ну, вот и получился анекдот – и смех, и грех.

Простодырый деревенский мужичок по фамилии Вахлячкин и по прозвищу Вахлак в доме своём растил, растил сынишку, а потом глаза разул – купидончик вылитый, парнишка-то. Вахлак разъерепенился, потряс жену, как грушу и докопался до правды – был, дескать, грех.

Мужик ружьё сграбастал и айда – отыскал бригадира в полях у реки, вышел из-за дерева и говорит:

– Слезай, паскуда. Буду судить.

Не моргнувши глазом, бригадир сказал: – Прошу зачитать приговор.

И Вахлак зачитал – наизусть.

– Понятно, – вздохнул Купидоныч. – Имеешь право. Не возражаю. Дай только перед смертью покурить.

– Перебьёшься. Так подохнешь, гад. – Так даже фашисты не расстреливали.

Деревенский дядька дрогнул – он же не фашист. – Ладно. – Подошёл и кисет вынимает. – Покури, паскудник.

А Купидоныч в разведку ходил, ему пальца в рот не клади. Мужик даже не успел ещё кисет достать, а фронтовик уже его обезоружил.

– Тихо, земляк, не пыли и не бойся, я в тебя стрелять не собираюсь. Ну, виноват я, прости дурака. Но я тогда не знал, что эта баба – твоя жена. Только почему она смолчала? А? Не знаешь? Может, потому что ты хреновенько стреляешь по ночам? Я вот, например, стреляю хорошо и днём, и ночью. Хочешь, покажу? Только твоё ружьишко – дрянь, ворон пугать. – Купидоныч ловко распатронил старую двустволку – патроны в карман себе сунул. – На, держи свой пугач. У меня имеется кое-что получше.

Сплюнув через тёмную щербатинку, Рукосталь достал винтовку из-под сена в своей таратайке. Достал из кармана потёртый пятак, показал вахлаку деревенскому и пошёл, прилепил монетку на берёзу – метров пятьдесят. Отличный Ворошиловский стрелок, он душу из монеты моментально вынул – осталось что-то вроде медного кольца.

– Держи, браток, на память, и не обижайся. – Купидоныч протянул дырявую монету мужику, который стоял, будто в цирке, разинув рот, глазел на представление.

Но потом этот вахлак всё же спохватился.

– И ты держи! – Он треснул по бригадирской морде. Купидоныч с ног долой слетел. Откатился к телеге. Кровушку вытер с губы.

– Имеешь право, – сплюнул, поднимаясь, – а то я бы тебя уконтропупил.

Вот так помирились они. И после этого Купидоныч замужних баб не трогал. Сначала паспорт спросит и посмотрит – нету ли штампа? И только лишь потом – у койку. Так он сам рассказывал, неисправимый врун и хохотун. Замужних баб не трогал – это верно. Зато других,

которых не пересчитать – продолжал обслуживать до самого последнего денька. Точнее говоря, до самой последней ночи, когда из него улетала золотая стрела Купидона – жаркая прощальная стрела. И тогда впервые, может быть, прослезился бывший старшина. И тут же разгоготался в полночном доме вдовушки.

– От Советского информбюро! – провозгласил он, как Левитан о победе над фашистской Германией. – Ромашки спрятались, поникли лютики! Одной заботой меньше! Баба с возу – кобыле легче! Вот теперь я к жене – с чистой совестью! Никогда теперь не буду изменять! Ха-ха!

Жену себе он выбрать постарался – от природы тихую, покорную, с детских лет затурканную. Жена воспринимала Купидоныча таким, каков он есть – восприятие мудрых. Главное, что был он мужиком хозяйственным, работающим, всегда заботился о доме, о семье. Ну, а то, что налево любил заворачивать – почти что у всех мужиков походка такая.

Первые годы после войны Рукосталь порывался уехать в Калерию, «на Валаам, грехи замаливать». Но потом передумал.

– Как я брошу тебя, Гомоюн? – говорил он, сам себе удивляясь. – Ты же без меня загнишь на фиг.

Да, человек он был преданный. Стародубцев когда-то на фронте прикрыл его, от верной смерти спас, вот откуда была эта преданность. Вот почему они вместе приехали в эти края. Дома свои вместе построили, помогая друг другу. И все праздники вместе встречали, все трудности вместе преодолевали. И вдруг он запропал куда-то. Странно.

Глава тринадцатая. Пропала держава

1

В застиранном, пожульканом, некогда белом халате, накинутом на широкие плечи, в больничных стоптанных шлёпанцах, небритый, как ёжик, нечёсанный – Рукосталь был почти не узнаваем. От него пахло свежестью осенней улицы, ядрёным табаком и еле уловимым выхлопом от выпивки – от самогонки, хитроумно выгнанной из пулемёта, приспособленного под это поганое дело.

В четырёхпалой руке посетителя болталась необъятная чёрная авоська, похожая на кусок от футбольной сетки, в которой были гостинцы: полосато-зелёный мячик-арбуз, банка соку и что-то ещё.

Присев на край постели, ржаво заскрипевшей, Рукосталь бегло осмотрел палату.

– Кордоны кругом, – заворчал. – Идёшь, как за линию фронта.

– Это ещё Доли нет, а то бы не прошёл. – Ну, да. Ей же взятку на лапу не дашь.

– Что? Как ты сказал? Ты про Вятку или про кого?

– Да, про это самое. Мы же ребята вятские, ребята хватские. – Купидоныч вяло усмехнулся, а потом угрюмо завиноватился: – Раньше навестить никак не мог. Дела.

– Всё стрелы мечешь? – подъялдыкнул Стародубцев. – Какие на фиг стрелы? Давно уж отметал. Я же рассказывал...

Левое ухо у Солдатеича, войною посеченное с верхнего края, в последнее время частенько свербело.

– Все как сговорились, – пробухтел он, царапая ухо. – Рассохин умотал, ты тоже.

– Времечко такое, Гомоюн.

– А какое «такое»? Да, кстати! – вспомнил Стародубцев. – Твои часы трофейные идут?

– Сломались, бляха-муха. Столько лет исправно шли. И вдруг...

– И мои остановились. Как это понять?

– А вот так и понимай: остановилось время, брат. – Хоть бы Николик приехал, наладил.

– Ну, это вряд ли. Всё разворошили, как муравейник. Всю державу перетряхнули. Народ теперь не скоро успокоится.

– погоди! А что такое? Что с народом? Что с державой? Купидоныч пятернею поцарапал макушку. Тёмно-серый волос у него уродился барашками, такими мелкими, такими жёсткими, будто металлическая стружка. Если погладишь, казалось, поцарапаешь руку.

Потолковав немного на злобу дня, Рукосталь удивлённо уставился на фронтового брата.

– Так ты не в курсе? – В курсе чего?

Обескуражено покачав головой, Купидоныч оскалил щербатые зубы – двух или трёх рядовых уже не хватало в нижнем строю. Достав папиросы, он на дверь посмотрел.

– Тут не курят?

– Кури. Доля разрешила, а врач как-нибудь перетопчется. Так что там такое стряслось? Я не в курсе чего? Говори.

Рукосталь потарахтел коробком со спичками. Кожа на лице его на первый взгляд казалась тёмно-землистой, хотя на самом деле – густой замес латуни с большой добавкой меди. Такая кожа, отливающая старинной бронзой, как правило, встречается у людей, много времени живущих под открытым солнцем. И вот эта бронза – вдруг начала бледнеть.

– Даже не знаю, как начать. – Ломая спички, Рукосталь остервенело закурил возле открытой форточки, надсадно вздохнул и прошёлся по полу, где виднелась кривая трещина. – Землетрясение-то было по всей стране. Как же ты не понял?

– Ну, было. И что? Что я должен понять?

– А то! – Рукосталь, всегда умевший преувеличить и даже приврать, стал рисовать такую мрачную картину, что просто ужас.

В Москве, рассказывал Рукосталь, могучие пушки Атаманской дивизии недавно шарахнули по Дебелому Дому.

Шарахнули так, что землетрясение произошло. Советская земля затрещала по швам и разорвалась там, где её когда-то старательно сшивали суровой ниткой социализма и гражданской войны. Земля разодралась по границам союзных республик, теперь уже бывших. Землетряска, дьявольская пляска, разрушила дома, мосты, дороги. С насиженного места сдвинулись горные хребты и многие народы пошли куда-то без поводья, лбами ударяясь в каменные стены там, где их не было раньше. По всем краям и областям бывшего Советского Союза образовались жуткие провалы, пропасти и даже бездна. Там, где был, например, пик Коммунизма, там появилась геенна огненная, откуда стали выползать все те, кто ещё вчера сидел на пике Коммунизма. И все эти партийцы – ну, пускай не все, но многие – перекрасились, паразиты, и пошли карабкаться на другие вершины. А их теперь много. Вершина Демократии, например. Вершина Вольнодумства. Пик Золотого Тельца. А простой народ, у которого нет снаряжения, чтобы покорять вершины, пачками валится в пропасть. Народ мосточки строит по-над бездной, жердины перекидывает над пропастями. Народ, как зачастую это было на Руси, не живёт, а пытается выжить.

После такого горячего и пространного монолога в палате наступила тишина.

Остатки листвы за окном шершаво шептались на ветке. – Так что же выходит? – глухо и медленно заговорил Солдатеич, смертельно бледный. – Пропала держава? Ветер надсадно вздохнул за окном.

– Пропала, брат. Пропала за здорово живёшь. – Купидоныч потыкал папиросой в сторону окна. – За что воевали? Где наше знамя, политое кровью?

– погоди! – Стародубцев тоже за окно посмотрел. – А это что? Вон там висит.

– А это, брат мой, триколор. Это наш позор. Армию Власова помнишь? Они служили у немцев под таким трехцветным флагом.

– Да? А я про другое когда-то читал. Власовцы использовали флаг с Андреевским крестом.

– Нет. У них был триколор. Я видел кинохронику. Парад первой Гвардейской бригады Русской Освободительной Армии.

Власовцы там выкаблучивались. Это было во Пскове 22 июня 1943 года.

Глаза Стародубцева ушли вприщурку – разволновался. – Значит, Андреевский флаг был у них раньше или позже.

Был. Я знаю точно.

– Может быть. Не спорю. Но этот Власов, курва...

– Да погоди ты! – Солдатеич потёр виски. – Не сбивай меня с толку. Ты лучше разъясни, что за хреновина болтается вон там на крыше?

Слышно стало, как папироса горит, потрескивая, – Рукосталь глубоко и жадно затянулся. И чем больше Стародубцев слушал его, тем сильнее бледнел. Потом закурил и, обхвативши голову руками, посидел на больничной койке, – забинтовался дымом. Зубами заскрипел.

– Ах ты, сучий потрох! Докторишка, мать его, шуточку такую отшутил. – Глаза Стародубцева засверкали. – «Когда вы красное знамя над крышей увидите, тогда мы вас и выпьем». Это он сказал мне. Курва.

Купидоныч хохотнул, но тут же спохватился.

– Ну, так давай проучим. – Он наклонился над ухом и заговорщицки что-то шепнул. – Понял? Да? Вот так и сделаем.

Послушав совет, Степан Солдатеич ладошки потёр. – Вот хорошо бы!

– Ну, так и пошли. А чего тянуть кота и зайца? Этому чёрту давно уже надо клизму поставить. Он же торгует здоровьем.

– То есть как – торгует?

– А что ты zenки выкатил? – Бывший старшина нервным движением поправил на плечах застиранный халат. – Не знаешь? Он же липовые справки выдаёт парням, которые от армии отвертеться хотят. Это, я скажу тебе, форменное безобразие. Представляешь?

Сокрушённо вздыхая, Стародубцев потряс головой. – Да как я представить могу, если добровольцем на фронт ушел? И не просто так ушёл – обманом. Приписал себе годик и айда воевать. Как я представить могу, чтоб эти бугаи красномордые – кровь с молоком – от армии прятались под мамкин подол? Не могу я этого представить.

– И я не могу! – Рукосталь загорячился, пересыпая матом. – Давай прямо сейчас пойдём и вставим клизму!

Устало ссутулившись, Стародубцев подбородком уткнулся в рогульку своей тросточки.

– Да ну его к чёрту, – отстранённо сказал. – Руки марать. Бывший старшина был недоволен, отвернулся и насупил брови, двумя седыми клочками прилепившиеся на выпуклой надбровной дуге.

Они ещё немного поговорили. Потом в палату заглянула санитарка, стала шипеть – мешают убирать ей, порядок наводить.

– Ты бы в стране сначала порядок навела, – подсказал Рукосталь. – А потом уже здесь...

– Я тебя, как путнего, пустила, – рассердилась санитарка. – А ты...

– Мамаша! – Стародубцев постучал костылем об пол и так посмотрел, что санитарка надолго исчезла, как будто действительно пошла по всей стране порядок наводить – подметать поля и горы, дороги протирать своею шваброй.

Однополчанин побыл ещё немного и ушёл, потому как в дверь палаты стала поминутно заглядывать медсестра с большими испуганными глазами. Умоляющим голосом она лепетала, что новый доктор может скоро объявиться и тогда он обязательно вытурит её, уволит за то, что по палатам посторонние шастают.

2

Оставшись в одиночестве, Степан Солдатеич задумался над кошмарной новостью насчёт землетрясения. Голова шла кругом от этой новости. На стены лезть хотелось. Но потом он подумал: «Да нет, что-то здесь перепутали. Так не должно быть. Это невозможно. Это чёрт знает что! Это значит, мы зря воевали?!»

Куриль захотелось. Он пошарил по тумбочке. Нету. Смял пустую пачку. Бросил под кровать.

«А где же Доля? Когда придёт?» Он посмотрел на чёрную авоську, принесённую Купидонычем. Дрожащими руками распечатал томатный сок в литровой картонной упаковке. Налил в стакан и удивился – сок прозрачный как слеза. Стародубцев понюхал и сморщился.

«Этого мне только не хватало!» – подумал, вспоминая оригинальный самогонный аппарат Купидоныча, который он придумал сотворить из пулемёта – к водяному охлаждению приспособил все необходимые детали.

Глядя на стакан с прозрачною слезой, Солдатеич задумался. Жилистая тёмная рука, державшая яблоко, непроизвольно стала сжиматься с такою чудовищной силой, как будто яблоко в тиски попало. Сок сначала сдержанно заплакал – закапал на половицы. А затем уже яблоко всхлипнуло в кулаке и заревело – струйки побежали по полу, извиваясь тонкими сверкающими змейками. И вдруг эти две сверкающих змейки сделались похожи на железную дорогу, если на неё смотреть издали.

И только тогда Стародубцев отчётливо вспомнил тот странный сон, который в последнее время не давал покоя своей тревожной смутностью.

Там, во сне, блестела железная дорога, уходящая за горизонт – в светлое будущее. А по дороге чешет паровоз, круглая железная башка его кудрявится чёрными чубами дыма. А за паровозом тянется, побряхтывая, огромный пассажирский состав, гружённый горами Кавказа, налитый морями Прибалтики. Сияют храмы Киевской Руси. В цистернах плещется вино Абхазии, вино Молдавии. И шумят, звенят кругом народы – люди союзных республик. Люди весёлые, люди счастливые, едут с гармошками, с песнями, с красными знамёнами и транспарантами. И вдруг – на ровном месте будто бы – пассажирский состав с грохотом валится под откос. Горы Кавказа ломают хребты, Рижское взморье выплеснулось куда-то в грязь, в болотину. И всё, что было красными знамёнами и транспарантами, – всё превращается в лужи и озера дымящейся крови.

«Мать моя родина! Что теперь будет? – застонал Стародубцев и машинально хлебнул обжигающий сердце напиток. – Ну, где моя Доля? Где курево взять?»

Он пошёл на поиски.

В коридоре было сумрачно и пусто, если не считать обшарпанной каталки, притулившейся около стены с плакатами, грозящими погибелью тому, кто не соблюдает правила гигиены. Пол в коридоре густо поклёван костылями и тросточками всех времён и народов – такое создавалось ощущение. Местами пол до блеска отполирован шарканьем шагов. Затёртые шляпки гвоздей там и тут словно подмигивали Стародубцеву – давай, дескать, смелее. Затем попалась крупная серебряная шляпка, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся обронённой таблеткой. Тоску и беспросветное уныние наводящие стены – во многих местах – зашарканы плечами, руками залапаны и засалены.

Костыль был на хорошем резиновом ходу – бесшумно помогал. Прихрамывая, Стародубцев заглянул в ближайшую палату. Запахло мочой и лекарствами. Послышался храп. На кроватях вповалку лежали два мужика в одинаковых «арестантских» халатах – белые полосы на чёрном фоне. Один из «арестантов» с головы до ног перебинтован – только дырка для храпа и дырка для глаза. Второй без руки – пустопорожний рукав до полу свесился, подрагивая в такт могучему храпению. За тумбочкой виднелась пустая поллитровка. На полу газета с заголовком: «СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ПРИКАЗАЛ ДОЛГО ЖИТЬ».

Заголовок этот – будто ножом пырнул под сердце. Даже в глазах потемнело. Захлопнув дверь, он прислонился к стенке, затылком ощущая прохладу и чувствуя, как волосы дыбарем становятся. «Значит, всё-таки правда! – промелькнуло в мозгу. – А мне всё не верится».

В поисках курева двигаясь дальше, он оказался у двери ординаторской. Заглянул туда, увидел Бударковича: краснощёкий, в свежестиранном халате сидел за столом и качал головой, плотоядно облизывал губы и ухмылялся, перелистывая журнальчик с фотографиями полуголых и голых девиц, – Солдатеич это увидел немного позднее.

– В чём дело? – заметив больного, Бударкович посуровел. – Почему не в палате?

– Курить охота, спасу нет. – Я не курю и вам не советую.

– Поздно советовать. Я, наверно, лет с десяти как засмолил на покосах, дак теперь уже вовек не бросить.

Доктор захлопнул фривольный журнал и совершенно спокойно сказал:

– Сочувствую.

Двумя руками опираясь на рогульку деревянной тросточки, Стародубцев как-то криво и недобро улыбнулся.

– Ты мне сочувствуешь? Хе-хе. Вот насмешил. Это я тебе должен сочувствовать, милый. Чёрные глаза-горошины под белой шапочкой на несколько мгновений увеличились.

– Что за тон? Почему вдруг на «ты»? И какой такой «милый»?

На краю стола лежали тёмно-синие резиновые перчатки. Стародубцев не спеша, демонстративно стал их натягивать, едва не разрывая.

– Я сейчас тебе поставлю клизму и тогда ты, сука, всё узнаешь!

Бледнея, Бурдакрович медленно поднялся из-за стола. Был он парень крепкий, спортом занимался – бицепсы проступали из-под халата, грудь широко бугрилась. А фронтовик был перед ним – далеко не богатырь. Да к тому же больной, почти одноногий.

– Идите-ка лучше в палату. Говорю по-хорошему. – Сначала ты уйдёшь отсюда. Я тебя, недоноска, уволю. Молодцеватый доктор, свирепо запыхтев, сделал руки коромыслом и пошёл на больного, чтобы скрутить и выставить за дверь. И вдруг...

Фронтовик отшатнулся назад и при помощи тросточки с черной резиновой дулей заставил Бурдакровича согнуться в три погибели – удар пришёлся в область солнечного сплетения. Ну, а дальше было проще. Приём рукопашного боя опрокинул доктора на пол. Крахмальная белая шапочка слетела под ноги – превратилась в растоптанный блин.

Остервенело пытаясь вырваться, Бурдакрович как-то странно захрюкал, точно сытый боров на заклании. А затем застонал от болевого удушающего захвата. От халата оторвавшаяся пуговка покатила как большая таблетка, щёлкнула об ножку стола.

В ординаторскую вошла медсестра – низкорослая толстуха, державшая стеклянную колбу в руке. Остановившись на пороге, толстуха обомлела. Слякка выпала под ноги и со звоном раздробалыскалась – осколки засверкали, брызнув по полу.

– Больной! – завизжала медсестра. – Сейчас же прекратите!

– Давай сюда клизму! – зарычал Стародубцев. – Будем лечить! Он заразный!

Бурдакрович, бледно-серой физиономией шаркая по ковру, с трудом повернулся.

– Милицию! – приказал, отплёвываясь. – Звони в милицию!

Низкорослая толстуха, едва не поскользнувшись на осколках, рысью подбежала к телефону и, округляя глаза, стала в трубку так вопить, как будто её режут без наркоза. И этот женский вопль, раздрающий душу, вопль, как будто раздававшийся где-то вдали за туманами, за дымным полем боя, заставил Стародубцева очнуться.

Он устало поднялся. Пошатываясь, плюнул мимо доктора и, забывая тросточку, подошёл к умывальнику. Снял перчатки, с треском разрывая. Аккуратно руки вымыл. Аккуратно вытер о свою больничную пижаму. Голова вдруг закружилась и перед глазами поплыли красные мошки, разрастаясь до размеров красных ягод.

Солдатеич плохо помнит, как пошёл по стеночке – вдоль плинтуса. Кое-как дотелепался до своей палаты. Прилёг, ощущая справа страшный сердцебой. Голову как будто облили кипятком – горячая кровь колотилась в ушах, ручейками звенела в висках. Потолок закружился как злая метелица, готовая подхватить под микитки и унести за тридевять земель. С облегчением вздыхая, он зажмурился на подушке и полетел куда-то в забытье пространное, мягкое и тёплое. Но отдохнуть ему не удалось.

«Чёрный воронок» подкатил под самое крыльцо. И повезли бедолагу из одного невесёлого казённого дома – в другой, ещё более грустный.

В темноте, где брехали собаки, по кривым переулкам, по чугунным колдобинам трястись пришлось недолго – «Белая церковь» находилась неподалёку. «Белая церковь» – это районная милиция. Так она прозывалась в народе.

Глава четырнадцатая. Тоска и небо в клеточку

1

Прекрасный русский город Белая Церковь сначала назывался город Юрьев, поскольку был основан киевским князем Ярославом Мудрым или просто Юрием – имя, данное мальчику при крещении. Во времена монголо-татарского нашествия Юрьев уничтожили, остались только развалины церкви, вокруг которой город постепенно возродился. Позднее Белая Церковь была под крылом Великого Литовского Княжества.

Ещё позднее – стала достоянием Польши. Достояние это в боях прибрали к рукам украинские казаки под предводительством Богдана Хмельницкого. Но в 1712 году город опять сделан польским. А в 1774-ом последний польский король Станислав Август – будто шубу с барского плеча – подарил этот город коронному гетману Браницкому. А через двадцать лет, после второго раздела Польши, город становится частью Российской империи. В 19-ом веке Белая Церковь представляла собою величавый уездный город. Во времена Советского Союза – это промышленный центр. Великая Отечественная война Белую Церковь превратила в руины – два с половиною года находилась под немцами. И понадобилось немало усилий, чтобы из чёрных развалин опять возникла Белая Церковь, способная заворожить красотой.

Вот об этом или примерно об этом с горечью думал начальник районной милиции, полковник Бронислав Брониславич Белоцерковский, время от времени поглядывая на карту, висевшую на стене, большую карту бывшего Советского Союза.

«Снова будут карту перекраивать, – печалился полковник. – Белая Церковь теперь останется на Украине».

Затрещал телефон.

– Нет! – взъерепенился полковник. – Это не прачечная! Он бросил трубку и подумал: «Хотя чёрт его знает. Деньги теперь везде отмывают. Те, кто раньше мог попасть на стенд «Ими гордится страна», теперь попадают на стенд «Их разыскивает милиция». Я не могу понять, что происходит. Рэкет. Взятки. Оборотни в погонах. Откуда всё это? Из какого гнилого угла широкой человеческой натуры? Печально то, что эта гниль сидела там от века, ждала своего часу и дождалась...» Собираясь уходить домой, Белоцерковский пухлые папки с делами стал приводить в порядок. Папки громоздились кирпичами на столе, на стуле, на подоконниках. Никогда ещё так много работы не было. Бардак и вакханалия верховной власти не могли не сказаться на разгуле преступности. Волчий мир уголовников наглеет и ведёт себя точно также, как волки наглеют в ту пору, когда страна охвачена войной или пожарами. Зверь понимает, что теперь не до него, люди с оружием удалились куда-то, остались только бабы, старики да ребятишки – можно спокойно идти в деревню и даже среди белого дня хозяйничать, скотину резать.

На стене – напротив карты бывшего Советского Союза – находился график преступности в районе. Кривая этого графика, а точнее две кривых – красная и чёрная – как две исковерканных молнии. Только молнии эти – размашисто, многоступенчато – уходили не в землю, а в небо. Кривая преступности с каждым днём, с каждой неделей, с каждым кварталом неудержимо взлетала всё выше и выше, словно хотела Бога за бороду поймать.

«Преступность не только обнаглела, – думал Белоцерковский, – преступность помолодела и даже, как это ни странно прозвучит, похорошела. Смазливые красотки вышли на охоту за лёгкими деньгами. Симпатичные парни в белых манишках и белых штанишках стройными рядами промышленяты идут. Всем захотелось лёгкой красивой жизни, бесплатного сыра!»

И только он подумал насчёт сыра – в углу раздался резкий и сухой щелчок – мышеловка сработала.

Заранее брезгливо морщась, Бронислав Брониславич направился в дальний угол. Разочарованно пробормотал:

– Пся крев. Опять стащила. Тут никакого сыра не напасёшься.

Закурив, он поглядел на дырку, чуть заметную около плинтуса, – эта дырка и другие, подобные, появились после землетрясения.

«Или мыши поумнели, твари подколодные, или мышеловки делать разучились. Народ сегодня вообще ни черта не делает, только торгует на каждом углу. Продает и перепродаёт».

Обрывая печальную нить размышлений, он заставил себя сосредоточиться. Какие папки в первую очередь нужно посадить под замок? Всю эту грудку «кирпичей» растолкать по сейфам не получится – места не хватит. Надо заказывать новые сейфы. А куда поставить? Теснотища. Можно, конечно, вызвать подчинённого и приказать, чтоб половину «кирпичей» оттащили в подвал, в хранилище. Только это лишняя морока – утром нужно снова поднимать сюда.

Хрустя хромочами, полковник прошёлся по кабинету. Постоял около тёмного окна. За железным неводом заржавленной решётки – как золотая рыбка – загорелась лампочка во дворе милиции; дежурный включил. А затем где-то внизу под окнами, скрипя тормозами, остановился «Чёрный воронок». Железными крыльями дверцы захлопали.

Бронислав Брониславич закрыл бумаги в сейфах, со второго этажа сошёл по деревянной скрипучей лестнице и хмуро удивился, когда дежурный офицер – в ответ на вопрос – доложил о задержании какого-то «престарелого сексуального маньяка», пытавшегося прямо в ординаторской над врачом надругаться.

«Совсем уже народ сошёл с ума! Пся крев! – поправляя фуражку, Белоцерковский сердито крикнул. – Куда мы катимся?»

Однако ещё больше полковник удивился, когда увидел престарелого «насильника»: лицо благообразное, страдальческое. Много лет не за страх, а за совесть работая в милиции, Белоцерковский был не только милиционер, но и психолог. Он хотел уже уходить – и так запозднил. Но что-то вдруг задержало. Может быть, любопытство, а может...

Скорей всего, хотелось убедиться: ошибается он, многоопытный, матёрый полковник, или всё-таки не ошибается по отношению к задержанному.

Белоцерковский приказал оставить их вдвоём и постарался расположить к себе этого странного «маньяка». Но Стародубцев был неприступен. Отчуждённо, угрюмо осматривал голые серые стены, обсиженные мухами. Серdito сопел. И стыдно ему было, и зло брало на этих сытых, самоуверенных милиционеров.

«Нашли преступника. Страну свалили с ног – и ничего. А тут, гляди-ка, самого опасного поймали. Даже полковник явился. Или делать не хрен, или я действительно такой опасный?»

Закончив рассматривать серые, тоску наводящие стены, потолок с яичной скорлупой штукатурки, местами готовой посыпаться на голову, Стародубцев глаза опустил. Хромочи полковника увидел – блестели как два самовара – и припомнил что-то неприятное.

«Комиссар, – кривя ухмылку, подумал Солдатеич. – Замполит. Контрразведка или СМЕРШ. Окопались тут, крысы, в тылу!»

– Вы не курите? – вдруг спросил полковник.

– Прямо как перед расстрелом, – пробубнил Солдатеич, не отказавшись от папироски.

– Что вы сказали?

– Я говорю, спасибо, товарищ комиссар. Благодарствую.

Белоцерковский утомлённо улыбнулся. – Ну, какой же я вам комиссар? – Полковой, поскольку вы полковник.

– Воевали? – не сразу спросил Бронислав Брониславич.

– Нет, – с вызовом ответил Стародубцев и закашлялся. – Ягодки-грибочки собирал.

– Попить хотите?

– Я не пью. – Солдатеич опять покашлял. – Хотя водицы можно.

Полковник подал ему кружку с горбушкой дрожащей воды. И после этого угрюмый голос Стародубцева стал помягче, подобрей. И через несколько минут общения с задержанным – по его глазам, по разговору и вообще по линии поведения – полковник понял: этот человек не может быть насильником. Полковник даже вспомнил теорию Ломброзо, который весь преступный мир поделил на четыре части: жулик, вор, насильник, душегуб.

Стародубцев под эту теорию не подходил. Так, во всяком случае, казалось полковнику.

– Степан Солдатеич, – доверительным тоном заговорил Белоцерковский, пододвигаясь к задержанному. – Зачем вы это сделали?

– А что я сделал? – Стародубцев одёрнул больничную застиранную пижаму, похожую на арестантскую робу. – Я ничего, я тока собрался.

– Что именно вы собирались там сделать? – Клизму поставить хотел Бурдаковичу.

– Бурдаковичу? Доктору? – Глаза у полковника стали «квадратными». – Это он клизмы должен делать. А ему-то за что?

– За красное знамя, – проворчал Стародубцев. Полковник чуть не выронил коробок со спичками. – Это как же понять?

– Он сказал, что выпишет меня, когда я увижу на крыше красное знамя. Как над Рейхстагом.

– Ничего не понимаю! – признался полковник. – Вы можете подробнее объяснить?

– А зачем это вам? – Степан Солдатеич машинально потрогал ухо, покусанное войной. – Сажайте в кутузку и весь разговор. «Пришёл черёд и стало небо в клеточку...» Или как там поётся?

– Небо в клеточку – это успеется, – резонно сказал Белоцерковский. – Ведь вы же не из тех, которые... Вы же серьёзный человек. Я это сразу понял. Я людей тут разных перевидал.

Постепенно проникаясь доверием к полковнику, Стародубцев изложил ему историю со своим «пропавшим зрением». Пряча горькую усмешку, Белоцерковский отвернулся к зарешеченному окну, закурил. Последняя осенняя муха жужжала между стёклами – как в стеклянной камере. Где-то гремели сапоги по коридору. Крик пьяного детины прокатился – обрывок раздольной песни. Потом всё стихло. Воронок, приглушенно каркая прохуdivшимся выхлопом, отъехал от крыльца, прожигая фарами сгустившуюся темень.

– Значит, так, – решил полковник, ладошкой прихлопнул по столу, – на пятнадцать суток мы вас оформлять не будем. А переночевать придётся. Да. Потому что я не знаю, что ещё вам в голову взбрёт. Понятно? Есть вопросы?

– Есть. Вы не могли бы мою одежонку доставить сюда из больницы. Я туда вернуться не хочу. А то ещё харю набью кой-кому, не сдержусь.

– Я вас понял. Всё. – Белоцерковский, поднимая грудь на вдохе, повелительно крикнул: – Лейтенант! Уведите!

Заложивши руки за спину, Стародубцев постоял на пороге, вздохнул.

– Спасибо, что уважили старого солдата.

– Уважил, ага! – Белоцерковский раздавил окурок в пепельнице. – Вот если он напишет заявление, тогда...

– Не напишет.

– Откуда такая уверенность?

Степан Солдатеич саркастически хмыкнул. – Рыльце у него в пуху.

– В каком таком пуху?

– А в таком, который не побреешь. Вот пускай напишет, тогда узнаете.

Белоцерковский отодвинул пепельницу, доверху заряженную гильзами отстрелянных окурков.

– Ну, всё. Ступайте.

Подслеповато моргая и чуть прихрамывая, – тросточка осталась в больнице – Стародубцев поплёлся по длинному бетонному коридору, тускло освещённому одною пыльной лампочкой. И вдруг остановившись, он расхохотался, запрокинув голову, – эхо загуляло по углам.

– В чём дело? – тревожно спросил лейтенант за спиной. – Сынок! Ха-ха! Дак ты бы видел, как он перепугался. – Кто? Полковник?

– Да нет. Метёлка эта новая. Бударкович, мать его...

Он подумал, я и, правда, руки буду марать об его, об этот – афедрон. Ха-ха...

– Афедрон? А это что такое?

– Задницу так в старину называли, сынок. А теперь называется ж...

Лейтенант, ухмыляясь, остановился у железной двери, зловеще зазвякал ключами.

– Не знаю, что там было, – сказал с лёгким сочувствием, – а посидеть придётся.

– Сидеть – не лежать. Надоело в больничке, все бока отвалил. А главное, что это... – Солдатеич пощёлкал пальцами, подыскивая нужные слова. – Обстановка прояснилась на передовой. Хотя, конечно, в этой новой обстановке мало хорошего, но это всё же лучше, чем неизвестность. Да, сынок?

– Да уж чего хорошего...

– И это тоже верно. А что там, на Москве, слышать? Какие новости? Долго этот флаг болтаться будет над страной? Серо-буро-малиновый с прокисью.

– Что? Не нравится?

– Нет. Я бы снял его к чёрту! – разоткровенничался арестант. – Я, сынок, уже снимал. Было дело в сорок пятом. Над Рейхстагом.

Прежде чем двери закрыть на замок, лейтенант негромко посоветовал:

– Батя, только ты про знамя больше никому не говори. А то сильно долго тут гостить придётся.

– Да-а, гостиница у вас не ахти какая, – согласился арестант, оглядывая мрачные стены, кое-где отмеченные росчерком землетрясения. – Но всё же это не Бухенвальд. Не Освенцим. Переживу как-нибудь. Только ты бы, сынок, подсобил мне рекогносцировку навести.

– Это как же я смогу? Чем подсоблю?

– Ну, дал бы мне газетки почитать, ночку скоротать. – Солдатеич кулаком постучал по стене каземата. – У меня клаустрофобия, сынок. Тошно мне в таком вот в замкнутом пространстве. Так что ты бы уважил.

– Хорошо. Попробую. Но это нарушение.

– Дак всё теперь нарушилось. Страну свалили с ног. – Ни говори, отец. Такая буча.

В газетах, какие достались ему, было много шелухи и пустопорожней болтовни. Ворох газет представлялся похожим на большую навозную кучу, в которой иногда встречалось жемчужное зерно.

«Вам, господа, нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия» – читал Стародубцев слова Столыпина, сказанные в начале XX века. Интересно, а когда же начались эти потрясения души? Первая глубокая трещина – как после динамита под скалой – в душе народа возникла, наверно, в ту пору, когда народовольцы взорвали царя Александра Второго. Так, наверно, да? А дальше было проще. Клин забили в трещину – расколовали могучий монолит. Забурлила, закипела революция. Потом Гражданская война со звоном и стоном взрывала душу. Потом придумали другую землетряску – раскулачивание; многомиллионное уничтожение крестьян. Рассказывание – самых смелых и гордых смешали с грязью. И дальше, дальше, дальше – трясли, крушили, били душу русского народа, в мелкую крошку толкли. Озверевшая толпа накинута на Бога – небеса на землю стаскивать пошли. Иконы рубили, языки вырывали колоколам, ещё вчера малиновым стозвоном ласкающие Русь. Монастыри, как вражеские крепости, динамитом в воздух поднимали. Ну, а потом уже война с германцами сотрясала

землю, крушила и доламывала, дожигала то сокровенное, что уцелело в душе и сердце русского народа. Война год за годом утюжила танками, бомбами рвала, секла пулемётами Вермахта и пулемётами советских заградительных отрядов. И что же после этого осталось на том месте, где была душа? Душа была – как поле, широко цветущее весной. А теперь – всё кругом заброшено, зачертополошено.

2

Ветер деревья хватал за грудки и встряхивал так, что листва, опалённая полноточной прохладой, охапками шарахалась наземь. Ветер голосил в ветвях и в колючей проволоке за углом милиции, откуда Стародубцев вышел в раномутренний час. Глядя на грязь под ногами, на золотые пятки листвы, постоял в невесёлых раздумках. «Ладно хоть Белоцерковский распорядился одёжку мою привезти из больницы, а то пошёл бы как недотыка...»

Петухи неподалёку растрезвонились, по старинке пытаясь нечистую силу прогнать, только теперь у них, увы, не получалось. Кругом было так много всевозможной нечисти – бульдозером не разгребёшь. Какие-то поганые ларьки стояли на каждом шагу. С похмелья помятые разбойные рожи то и дело встречались. Овраги и ямы на пути попадались, разрушенный или полусгоревший дом – следы землетрясения.

Куда идти? Что делать? Он не знал. У него было такое ощущение, будто прошло несколько лет, пока он валялся в больнице, в «тюряге» сидел. В голове такой сумбур – с ума сойдёшь.

Он закурил, задумался и даже не заметил, как налетевший ветер за несколько затяжек выкурил папиросу – только искры полетели в синеватый сумрак.

Сначала он хотел пойти, отыскать приятеля, живущего в райцентре, поговорить по поводу того, что происходит, но вспомнил приказ полковника: не бродить по районному центру, а сразу же ехать домой. Да и зачем тут бродить, что искать, когда нервы на взводе? Найдёшь приключений на афедрон.

Сгораяча забывая о своей хромоте, Степан Солдатеич вознамерился пешком дойти до Мирюлюбихи. Вышел за околицу, и тут нога заныла. Он завернул в перелесок, крепкий посох выломал. Но и посох был плохим помощником – ступня огнём горела. Однако Солдатеич упрямо шёл и шёл, стиснув зубы, и думал: «Дорогу осилит идущий!»

И вскоре ему повезло. На попутке он с ветерком добрался до Мирюлюбихи, отказавшись ехать в кабине. Во-первых, потому что клаустрофобия начинала тревожить, а во-вторых, просто не хотелось разговаривать с шофёром – тошнёхонько было.

В Мирюлюбихе показалось ещё холоднее, чем в райцентре. Промозгло. Ветрено. Будто предзимье уже наступало на горло.

Низколобое небо, космато заволосатевшее, склонилось над крышами. Облака и тучи рваными закрайками цеплялись за деревья и скворечники на длинных шестах. «Чёртов столб» винтом крутился возле автостанции – убегал куда-то на задворки и возвращался, вздымая обрывки газет, окурки, фантики и всякую другую дребедень, в большом количестве скопившуюся по углам и в самом центре площади. Никогда ещё так грязно в этом месте не было. Так замусорено, так захлавлено и так заплёвано бывает только в доме, откуда хозяева съехали.

Угрюмо глядя под ноги, где рваными знамёнами лежали осенние листья, Стародубцев обходил густой кисель грязюки, мутно-сизые лужи, кое-где застеклённые полноточной стужей. Заблудился в каком-то кривоколенном проулке. Попал в тупик – полынь, сухая жалица. Постоял, растерянно зыркая по сторонам. Невдалеке приметил магазин – дверь гостеприимно растарабарили.

Он зашёл, поллитровку хотел прикупить. И тут его жена перехватила. Возле прилавка было пусто, и вдруг – на тебе...

– Стёпочка! – Глаза у неё широко расплескались на бледном лице. – Я там, в районе, в коридоре, караулила тебя, а ты ушёл, уехал, даже не заметила.

– Меня Белоцерковский чёрным ходом выпустил, – отворачиваясь от прилавка, тихо сказал Солдатеич. – Он хоть и поляк, но русский офицер. Настоящий полковник. С умом.

– Он-то, может, и с умом, а вот ты...

– Ну, хватит! – перебил Стародубцев, исподлобья поводя глазами. – Люди смотрят!

– Да как же хватит, Стёпочка? Тебя ж ни на минуту одного нельзя оставить! Какую клизму ты хотел кому-то сделать?

– Что ты орёшь-то на всю деревню? – Он отодвинул бутылку, будто гранату, с которой уже сорвали чеку. – Забери! – раздражённо сказал продавщице: – Сто лет не пил, а ты мне суёшь зачем-то...

Остаток пути до избы Стародубцев топал как будто под конвоем – жена шагала сзади, на пятки наступала. Улица, где шли они, знакомый переулочек – всё это странно как-то изменилось за то время, пока лежал в больнице. А точнее сказать: за то время, когда старый уклад по стране с грохотом обрушился, а новый на ноги ещё не встал.

От старого миропорядка ещё остались звонкие призывы на стенах казённых зданий – «наша цель...», «наша дорога...» «наша гордость...» А новый строй в ДК, в кинотеатре уже торопился правду-матку рассказать насчёт золота партии и насчёт немецкого шпиона, который на деньги масонов приехал в запломбированном вагоне, чтобы Россию зажечь огнём революции.

И снова багряные листья, шелковисто шуршавшие под сапогами, показались рваными знамёнами. И возникло вдруг такое ощущение, точно он сейчас идёт по территории, захваченной врагом. Ощущение это – забытое, давнее, унижительно-щемящее, – залегло на дно души с тех давних пор, как он прошёл по Украине, по Белоруссии, откуда пришлось выковыривать фрицев, стреляющих из каждой подворотни, из каждой белой мазанки, облизанной чёрным языком пожара.

– Стёпушка! – окликнула жена. – Ты куда? Остановившись, он незрячими глазами уставился на калитку, мимо которой едва не протопал. И опять показалось ему, будто бы прошло несколько лет с той поры, когда покинул дом.

Запрокинув голову, он отрешенно постоял во дворе. Журавлиный клин тянулся к югу – серые крестики на синем фоне. И вдруг ему стало тоскливо – до боли, до стога. И вспомнились обрывки песни: «Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежутки малые – быть может, это место для меня...»

Дома показалось ему неуютно и холодно-важненько, несмотря на то, что Доля прибралась и часом раньше печку поджила. Неуютно было, прежде всего, в душе. А в голове всё никак не могла утнестись, не могла поместиться невероятная новость по поводу развала Советского Союза. Как это так? Вчера ещё был – необъятный такой, а сегодня – следа не найти.

Эта новость голову разламывала – настолько была велика. Он и так и сяк пытался эту новость приладить к себе, как-то свыкнуться, сжиться с тем, что произошло. Только ни черта не получилось. Это было нечто запредельное...

Доля Донатовна, тревожно посматривая на мужа, всё пыталась его уложить, всё какие-то капельки предлагала принять. Но Стародубцев наотрез отказывался.

– Налегался! Напринимался! – сквозь зубы рычал. – Почему мне сразу не сказала?

– Да как же я могла, когда...

– Надо было сказать. Я бы поехал в Москву. Я бы им, сволочам...

«Вот потому и не говорила!» – вздыхая, думала жена, позвякивая посудой – на стол готовила.

– Садись, поешь.

Он посмотрел на потолок и помрачнел. – А где ключи от вышки?

– От чердака? Зачем тебе?

– Трещина. Не видишь? Надо проверить, как там...

Зигзагообразная тонкая молния прочертилась по белому потолку – трещина едва заметная, паутинками уползающая в глубину штукатурки. Чердак, оснащённый двойными опорами, никогда ещё так не проседал. Да это и не мудрено – никогда ещё не было землетрясения.

– Теперь я и не вспомню, где, – забормотала Доля Донатовна, перебирая коробки, ящички. – Где он, твой ключ. Ты же сам куда-то заховал.

Собираясь накричать на жену, Солдатеич поперхнулся. Приступ кашля навалился на него – лицо побагровело, как в петле. Откашлявшись, он нехотя прилёг, разглядывая молнию на потолке.

– Дай воды, – закричал, – пересохло.

Жена обрадовалась. Она сама только что хотела предложить попить – снотворное в стакан было подмешано.

3

Багрово-красный комок заката уже завалился за дальние избы и огороды, когда Стародубцев кое-как распросонился. Голова была такая очумелая, будто с чужого плеча.

Зевая, он включил телевизор и сплюнул в сердцах. Сначала там полуголые девки вертели задницами в перьях и длинными ножищами дрыгали так, что Солдатеич невольно отшатывался – как бы по сусалам не прилетело. А затем такое началось – ни в сказке сказать...

Собираясь ещё раз зевнуть, он челюсть едва не вывихнул – застыл с открытым ртом.

– Ты гляди, что творят, – пробормотал и тут же крикнул: – Доля! Где ты? Глянь!

Жены в доме не было.

Он табуретку взял, очки напялил и подсел поближе к телевизору.

Униженный и оскорблённый, он со стыдом и ужасом смотрел и слушал, как матерят – почти открытым текстом – времена «застоя», времена, когда был СССР. Первым делом он хотел выключить телевизор. Однако не выключил. Может, потому что подспудно ждал, когда же наконец-то кто-нибудь встанет на защиту, возмутится, призывая к совести. Нет, никто не призывал, не возмущался. А, скорее, даже наоборот. Сатанинское самодовольство сквозило в голосах, в глазах и в сытых физиономиях, большинство из которых с трудом помещалось в телевизор – подбородки и жирные щёки в горницу чуть не вываливались, чуть слюна из телевизора не брызгала, когда эти твари продажные в порыве вдохновенной безнаказанности носили державу, вскормившую их и вспоившую.

Понимая, что ничего хорошего он не дожждётся от этих сытых трепачей, фронтовик поднялся – вырубить всю эту камарилью.

И вдруг он услышал о каком-то странном соглашении, подписанном в Беловежской пуще.

«Соглашение? – жарко и отчаянно мелькнуло в голове. – Лично я дак не согласен!»

Исходя из того соглашения, говорил картавенький диктор, СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекратил своё существование. Первая статья того соглашения возвещала о том, что «высокие договаривающиеся стороны» образуют Содружество Независимых Государств. Сокращённо – СНГ. А дальше, как в той сказке, – чем дальше, тем страшней. И совсем уж дурно стало Солдатеичу, бывшему советскому танкисту, совсем уже сделалось неважно, когда танки таманской дивизии взялись боевыми снарядами шарахаться по Дому Советов. Потом беспорядки покатились по улицам. Кровь на брусчатке. Цветы.

Это была показана «хроника побед и поражений», – так сказал всё тот же картавый диктор. Но Степан Солдатеич всё это воспринял, как происходящее в реальном времени.

Кусая губы от обиды, рыча от злости, он не выдержал – сграбастал телевизор и потащил куда-то. Громоздкий ящик, давно уже здесь прописавшийся и не пожелавший покидать избу, заартачился в дверях, громко бухнул боком об косяк – по стеклянной морде телевизора поползла морщина витиеватой и глубокой трещины.

– Стёпочка! – закричала жена. – Что ты делаешь? Он побледнел, оскаливая зубы ей навстречу. – Уйди! Христом богом прошу!

И жена благоразумно отступилась: глаза у него полыхали так, что если бы увидел банку с керосином – взорвалась бы к чёртовой матери.

И откуда только силы взялись в нём. Ослабленный, раскрученный по гайкам и развинченный после болезни, Степан Солдатеич выволок проклятый ящик на крыльцо, там поднял на плечи и потащил, пошатываясь, в сторону помойки – на сумеречный берег, от которого землетряска отломила жирный чернозёмный кусище.

Запнувшись, он поскользнулся на чём-то – едва не грохнулся. Но всё-таки дошёл, дошкандыбал туда, куда хотел. Бросил с размаху и яростно плюнул в стеклянную рожу – в сытую рожу, продажную, ничего святого за душой не имеющую. И сразу вдруг стало легко. Только в коленках слабина холодцом задрожала. Он вытер пот, вздохнул и, сутуля спину, побрёл куда-то, едва переставляя сапоги, налитые свинцом, и ощущая не только усталость – жуткую опустошённость, распотрошенность сердца и души.

Следом жена прибежала, хотела забрать телевизор, но эта ноша для неё оказалась почти непосильной. Доля Донатовна пошла за тележкой, чтобы погрузить и увезти.

И тогда Солдатеич схватил полупудовый колун, мрачно мерцающий под навесом сарая, – рванулся на помойку, и вскоре там что-то зазвякало и забабахало, как будто гранаты взрывались.

Чёрная бездомная собака, кормившаяся отбросами, приглушенно зарычала на Стародубцева, показывая клыки и злостью накаляя красноватые глаза.

– Ах ты, сучка драная! – Солдатеич не только не испугался, даже обрадовался. – А ну, иди сюда! Иди, поганка!

Какая-то странная, полужвериная сила исходила от этого человека – небывалая сила. Отскочив, собака драпанула в сумрак, трусовато поджимая хвост, отяжелённый гроздьями репейника.

С колуном наперевес он постоял среди помойки, задыхаясь от гнева. Жутковато посмотрел по сторонам – красные круги перед глазами плавали.

– Ну? – сквозь зубы прошептал. – Кто ещё против советской власти?

Он не мог просто так успокоиться. Его трясло. Хотелось куда-то идти с колуном, крушить сволочей и доказывать правду, огнём испепеляющую сердце.

И тут перед глазами предстал его спаситель – тот самый, который «с поля боя» на своей машине в районную больницу привёз. Тот, который по жизни всегда шагал широко и уверенно.

Глава пятнадцатая. Гуляй, ребята

1

Волевые, целеустремлённые, уверенно идущие по жизни – эти люди рождаются во все времена. Только времена бывают совершенно разные. А потому и люди по-разному зовутся, наряжаются по-разному и под разными знамёнами идут. В былые века целеустремлённый и волевой человек становился, например, купцом, богател год за годом. А другой такой же волевой становился дерзким атаманом, под разбойным парусом гулял, на большой дороге промышлял. Во время революции такие дерзновенные и волевые на баррикадах глотку драли, Зимний брали. Во время Великой Отечественной – это были командиры и политруки. А в мирное советское время – это человек «партийный», насквозь идейный. Приблизительно в таком порядке, в таком ранжире Стародубцев выстраивал многих своих знакомых.

Молодой, подающий надежды «идейный пахарь» Пустовойко жил почти по соседству – через переулочек, примыкающий к реке. Вот как раз по переулочку он и пришёл тогда – поднялся от реки.

– Слышу, гром гремит, – заговорил он, объясняя своё появление. – Потом смотрю – сосед воюет с телевизором. И не жалко тебе, Солдатеич? Дорогое всё же удовольствие – громить такую технику.

– Глаза бы не глядели! Веришь, нет?! – в сердцах воскликнул Стародубцев, отплёвываясь. – Лучше б я взорвался на той немецкой мине. Какого хрена ты меня спасал?.. Оно, конечно, я тебе сказать «спасибо» должен. По совести-то ежели рассудить. Да только ведь такой бардак кругом...

– Понимаю. – Пустовойко губу закусил. – А может, мы пойдём ко мне? Посидим, потолкуем про нашу весёлую жизнь.

Стародубцев помолчал, в уме что-то прикидывая. – Может, лучше ко мне? – предложил.

– А Доля твоя?

– А чего? Она поймёт.

Пустовойко машинально волосочек выдернул из треугольной, розовато раздувавшейся ноздри.

– А моя так ни черта не понимает. Ну, пошли, Солдатеич. У тебя хоть ребятишек нет. Как там, кстати, поживает ваш Николик?

– Учится. В десантном.

– Молодец. Хорошего ты парня воспитал. – Шагая следом, Пустовойко заметил: – Хорошо тебя там залатали. Даже не хромаешь.

– Жизнелюб, дай бог ему здоровья.

– Погоди. – Сосед остановился. – А водка-то у тебя найдётся? Я же помню, что ты ни-ни...

– Водки нет. Тока закуска.

– Ну, вот видишь. А без водки разговора не получится. Давай ко мне.

Вечер уже зацветал над землёй. На западе пламенела полоска зари, чётко повторяя чёрный контур далёкого бора. Выстывающий синий воздух столбами стоял между избами, между деревьями в переулочке. Тонкий месяц хищновато скалился, прорезаясь в облаках за рекой, откуда свежий ветер то и дело потягивал.

– Гроза, однако будет, – глядя в небеса, проговорил Стародубцев.

– Страшная будет гроза, – многозначительно сказал Семён. – Такой грозы, наверно, ещё не было. Ты-то как думаешь, Солдатеич?

– Переживём, даст бог. И не такое переживали.

– Ну, такого ещё не было на нашем веку. Всю страну перевернули вверх дном.

Пройдя вдоль огорода, откуда пахло стылой сырой землёй, они приблизились к высоким широким воротам тёмно-вишнёвого цвета. Пустовойко – хороший хозяин – это сразу видно. Всё у него обихожено: листва и жухлый волос свалившейся травы, гнилые ветки, сложенные ветром, – всё граблями прибрано, причёсано. Деревья в палисаднике подбелены, точно в белых пимах приготовились зиму встречать.

Они постояли возле ворот, покурили. И тут вдалеке в переулке возникла «Скорая помощь» – замаячила серым пятном. Собака затыкала, едва успевая отскочить от колёс. Два или три гусака возмущённо загоготали, вытягивая шеи. Вздывая клубы пыли и подпрыгивая на кочках, «скорая помощь», стремительно разрастаясь в размерах, полетела, кажется, прямо на людей...

У Стародубцева аж сердце охолонуло – стоял возле ворот, как на расстреле; не шевелился, угрюмо глядя на автомобиль, стрекотавший выхлопной трубой как автоматом.

Не доезжая метров десяти до ворот, «скорая» жутковато заскрипела тормозами – вспахала землю задними колёсами и остановилась, заглохнув. Пыль в тишине закудрявилась, розоветя на фоне остатков заката. Из-под застрехи гаража воробей испуганно брызнул – чёрной пулей прострелил через подворье.

Из кабины вышел Жизнелюб Иванович. Белую шапочку снял – бросил в кабину. Дверца коротко и смачно хлопнула.

– Артист! – намекая на отца-актёра, удивлённо и немного осуждающе сказал Пустовойко. – Эффектно подъехал. Как из-за кулис на сцену. А я стою и думаю, кому это здесь плохо, в нашем переулке?

Здороваясь за руку, Рассохин спросил: – А кому теперь здесь хорошо?

– Это точно. – Семён поглядел на тучи, широким фронтом идущие из-за реки.

«Скорая помощь» тем временем развернулась и дальше поехала – только пыль по переулку за клубилась как дымный порох, да какая-то серая курица заполошно закудахтала вдалеке, едва не попав под колёса.

– Как ваша нога? – несколько смущённо спросил Рассохин, не ожидая увидеть здесь Степана Солдатеича.

– Нормально. Спасибо. Скоро можно плясать. Доктор повернулся к Пустовойко.

– Не помешаю?

– Заходи. – Хозяин усмехнулся, открывая калитку. – Третьим будешь?

– А как же! – Рассохин принахмурился, доставая из кармана поллитровку с чистым медицинским спиртом. – Это для наркоза сердца и души.

– Годится. А ты когда приехал, Жизнелюб? – На днях.

– Управился с делами?

– Да так – с серединки на половинку.

– Ну, пойдём, расскажешь. – Хозяин проводил гостей в избу и, повышая голос, позвал жену: – Сообрази-ка нам что-нибудь на стол.

В комнату вошла породистая женщина с крупными чертами неприглядного лица, украшенного косметикой. Серьги, горячо сверкающие золотом, отвлекали от прохладного блеска в глазах. Добротнo одетая, не по годам располневшая, она капризно оттопырила губу и, не скрывая недовольства, начала демонстративно выставлять на стол посуду и закуски. Заунывно зазвякало, скандально забрякало. И Стародубцев подумал, что надо подняться, уйти. А то противно как-то. Никогда он ни к кому в гости не напрашивался. Думая так, он сидел, тем не менее. Понурился смотрел на блестящую шляпку гвоздя, похожего на капсуль, давно уже отстрелянный. Переживая мучительный стыд, Солдатеич даже не заметил, что за столом уже сделалось непринуждённо и весело – мужики дерябнули по стопке.

«Да стопки-то какие!» – удивился он, разглядывая хрустальную рюмку, сияющую звёздами на кремлёвских башнях.

– А что ты смотришь? Пей! – пригласил хозяин, раскрасневшийся, раскрепостившийся. – Скоро этих звёзд не будет над Кремлём.

– Как это – не будет? А куда же они...

– Ты почему такой наивный, Солдатеич? – Хозяин невесело засмеялся, играя треугольными ноздрями. – До Берлина дошёл и так хорошо сохранился.

Стародубцев мрачновато глянул на него. Потом глазами ковырнул Рассохина.

– Вон доктор знает, как я сохранился...

– Живого места нет, – негромко подтвердил Рассохин, думая, как видно, о чём-то своём.

Помолчали. Ветер за окошком затеребил деревья, словно потянул куда-то за собой. А деревья идти не хотели, ветками цеплялись за крышу, за ставни.

– Ну, давайте за здоровье победителя! – неожиданно провозгласил хозяин. – Без вас бы мы под Гитлером ходили.

«Как бы теперь не пошли, – ожесточённо подумал старый солдат. – Тех оккупантов прогнали, так эти...»

– Был я в Москве, – невесело заговорил Рассохин и добавил нечто непонятное: – Выпустили джина из Бутырки, попробуй-ка обратно затолкай. Мужики! Вы даже представить не можете, что происходит. В Кремле бардак. Страною управляет алкоголик. Его надо лечить, держать в смиренной рубашке, а он руководит страной. За бутылку готов подписать что угодно. Американцы ходят по Кремлю, как по Белому Дому. Кошмар. Наша страна разоружается в одностороннем порядке, в то время как НАТО уже возле наших границ ставит военные базы. Мне показали статистику смертности – волосы дыбом. Вымирает Россия. Вымирает как мамонт.

За рекою сначала взблеснуло, затем загремело жестяными раскатами. Какая-то лошадь, пасущаяся в пойме, жалобно заржала в темноте, всё плотнее окружающей деревья, избы. Темнота, лишённая даже маломальской звёздной искры, вселяла в сердца людей чувство горького сиротства на огромной земле, чувство одиночества и тоски. А может быть, это остро чувствовал только он один, этот старый солдат, пронзительно трезвый, перед мысленным взором держащий всю страну, которую теперь где-то там, «вверху», вот так же вот за рюмкой водки делили на куски, деловито дербанили, рвали вместе с мясом красной глины, с пуговками древних сёл и городов.

2

Всю ночь они тогда проговорили. Правда, Рассохин за столом посидел недолго – за ним приехали на «скорой». А Пустовойко с горя крепко дербалызнул – как будто за двоих. Идеальный пахарь, он прекрасно понимал, что песня его спета. Вчерашний солидный товарищ – ответственный, строгий, взыскательный, позволявший себе только зубы водкой сполоснуть и только в самые большие праздники, – Пустовойко будто с цепи сорвался.

Отодвинув хрустальную рюмку, сияющую звёздами Кремля, он водку стал глушить гра-нёными стаканами. Засаживал в себя – как в неприятеля. Пил, не закусывая, и при этом почти не пьянел – настолько велико было волнение, смятение и мандраж. И злоба закипала мятюгами. Да и как не злиться – всё под откос летело кувирком.

Семён Азартович в ту пору хорошо устроился в партийном кресле. Светлое будущее, о котором многие только мечтали, для него уже наступило: квартира, машина и дача, полный холодильник еды-питья и полные шкафы моднячего тряпья. Коммунизм в отдельно взятом человеке, можно сказать, наступил. И вдруг – на тебе.

– Дачка, тачка и собачка? Не в том дело! – рычал он, кулаком шарахая по скатерти, где виднелись крахмальные серпы и молоты, искусно выделанные вологодскими кружевницами. – Ни дачку и ни тачку мне не жалко! Страну развалили! Скоты!

Стародубцев угрюмо оглядывал убранство квартиры. В этом доме он оказался впервые и потому не мог не удивиться той «великой роскоши», которая, в общем-то, роскошью не была, а только представлялась таковою – в силу воспитания и в силу убеждения Солдатеича.

– Ну, как не жалко? Жалко! – не согласился он. – Всё теперь полетит кувырком. И дачка, и тачка.

– Не это главное! Неужели ты не понимаешь элементарных вещей? Гомоюн или как тебя там...

Слегка задетый за живое, старый солдат прикинулся сибирским валенком.

– У меня всего лишь два класса и один коридор. Где ж тут понять?

– Ну, так послушай. Думаешь, они там подписали Беловежское соглашение? – Пустовойко горячую стрелу метнул глазами за окно. – Предательство там было, а не соглашение. Это был антисоюзный государственный переворот. Более того, скажу тебе. Развал Советского Союза – трагедия мирового масштаба. Нам это ещё предстоит осознать. Европа интегрировалась, создавая единое правовое, экономическое и политическое пространство, а наши козлы развалили такую державу.

Царапая ухо, посечённое шрапнелью, Стародубцев насторожённо посмотрел за окно: там ему что-то почудилось.

– Сёма! – спросил он, напряжённо глядя в темноту. – Как же такое могло случиться?

– Как? – Хозяин отодвинул стакан и матюгнулся. – Раком!.. Всё очень просто. Суть вопроса у них заключалась в том, что Советский Союз был учрежден в 1922 году четырьмя республиками: РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказье. – Он помолчал и проворчал: – Аллэ! Ты меня слушаешь?

Стародубцев снова глядел в окно. Ему показалось, что там Доля Донатовна объявилась.

– Да, да, конечно, слушаю, – спохватился он. – Советский Союз учреждён четырьмя республиками. Так, Семён. И что дальше?

– А вот что! – Хозяин показал четыре пальца, затем согнул один. – Поскольку Закавказье перестало существовать, то, стало быть, три оставшихся республики якобы имеют полное юридическое право упразднить Союз. Вот этот факт и приняли они за основу при подготовке беловежского предательства. Это было тем более важно, что предложение исходило от России, на которую в случае необходимости всегда можно стрелки перевести. Ты понимаешь, чем это грозит? Бисмарк, первый канцлер Германской империи, говорил: «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины...» Вот оно и началось – отделение. Понимаешь, сосед?

– Да я в политике... – Сосед погладил крахмальные серпы и молоты на скатерти. – Я – стародуб, чего уж тут...

– Не скромничай. – Хозяин потянулся к поллитровке. – Я тебе вот что скажу. Только мы сначала врежем, дядя Стёпа. Хлопнем по степанчику. Тьфу, то есть, по стаканчику. Держи.

– Нет. Я не буду.

– А я приму. За помин души Советского Союза. Стародубцев нахмурился. Посмотрел на хрустальные звёзды Кремля, сияющие на рюмке.

– А я поминать не хочу. Советский Союз для меня как был, так и останется. А если кто-то против, бляха-муха, да я их порешу из пулемёта на... – Он хотел сказать «на чердаке», но прикусил язык и сделал вид, что чуть не матюгнулся.

– Пулемёт? – Идеальный пахарь оживился, глаза блеснули. – Вот это было б здорово! Поставить бы их к стенке, всех этих скотов, всех могильщиков СССР... Лично я только так поступил

бы. К стенке – и привет! Да только мало нас, таких, как я да ты. Много таких, которые из своих пулемётов самогонные аппараты состряпали.

– А ты откуда знаешь? – удивился Стародубцев.

– А что, у меня глаза на затылке? – Хозяин выпил, и мысль его опять стала блуждать по дебрям Беловежской пуши. – Мне вот за что обидно, Гомоюн. Эти сволочи, беловежские зубры, завтра будут уверять и нас, и всю мировую общественность, будто Советский Союз сам по себе распался. Рассыпался, так сказать, как нежизнеспособная система. Брехня! Звездёж! – Хозяин опять по столу кулаком припечатал. – Я на днях с Москвою созвонился, так они давай мне сказки сочинять. Мы, дескать, спасли распадавшийся Советский Союз от кошмара гражданской войны. Брехня, сосед. Звездёж. Гражданская война – это как раз то, что скоро будет. Помяни моё слово.

– Что? Неужели снова воевать? – А как иначе?

– Я не знаю, как иначе.

– А я знаю! – Семён Азартович раздухарился, даже вспотел. – Помнишь, как доктор недавно сказал? Выпустили джина из Бутырки, попробуй-ка, обратно затолкай. Вот и надо затолкать. Хоть пулемётом, хоть гранатомётом. Надо современного Минина с Пожарским! Народное ополчение надо скликать! Надо их, глядей...

Жена из спальни вышла. Запахнула на груди бархатно-барский халат цвета апельсиновой зари. Некрасивое лицо её, на ночь отмытое от косметики, оказалось грубым, мужиковатым. Неподкрашенные глаза смотрели пронзительно, недружелюбно.

– Семён, там ребяташки спят. – Сухие бледные губы шелестели, будто бумажные. – У них с утра уроки. Потихе, пожалуйста. Ну, что ты, в самом деле? Угомонись.

– Уроки? – Пустовойко кривогубо ухмыльнулся. – Уроки истории ничему нас не учат. Надо нам обязательно, как в той песне, всё разрушить до основания, а затем всё на х... разнести.

Сонное, слегка помятое лицо жены стало строгим и даже злым – морщины возле рта обозначились, как на театральной маске трагика.

– Ты что, совсем уже? – зашипела она, подходя к столу. – Один вторую литру оглоушил? Тебе же завтра на работу.

– На какую работу? Хреном груши околачивать? Так всё уже, мать, закончилась битва за урожай. – Идеинный пахарь громко хохотнул. – Всё в закромах великой нашей Родины.

– Шёл бы ты спать, урожай. Да и вы, Степан Солдат...

– Молчать! – Муж поймал и со страшною силой сдавил руку жены. – С каких это пор ты здесь командуешь? А?

– С тех самых пор, как ты здесь начал пьянствовать, – невозможная боль, сказала женщина. – Отпусти.

– А я, между прочим, ещё не начинал.

– Да что ты говоришь? – Болезненно улыбаясь, женщина вырвала руку. – А это? Молочко от бешеной коровы? Это с него ты бешеный такой?

Покачнувшись на стуле, он болезненно-блестящими глазами в упор посмотрел на жену – ничем не прикрытая ненависть полыхнула во взгляде. И это было не удивительно. Семён на ней женился из-за папы, крепко сидящего в аппарате обкома и обладающего большими столичными связями.

– Пошла отсюда. Халда. – Он сделал широкий и пренебрежительный жест. – Ты хоть понимаешь, что случилось? Ты же теперь по миру пойдёшь. Голым задом будешь при луне сверкать.

– А ты чем собираешься сверкать? Соплями? Мужик называется.

Скулы Пустовойко стали белеть. Желваки задрожали. – Заткнись. Я по-хорошему...

– Ты лучше сам заткнись. – Жена упёрла руки в пухлые бока. – Сидишь тут, ноешь, как баба.

Треугольного покроя ноздри мужа затрепетали. – Если ты сейчас не сгинешь – я за себя не ручаюсь. Степан Солдатеич поднялся, едва не опрокинув рюмку.

Покашлял в кулак.

– Мне пора. Уже поздно. И Доля моя под окном коченеет. – Сидеть! – неожиданно прикрикнул Семён Азартович, остекленело выкатив глаза. – Сидеть, я сказал!

– Ты чего это, сынок? – Стародубцев хмыкнул и посмотрел вприщурку. – Со своей собакой перепутал?

Несколько мгновений Пустовойко прожигал его такой же лютой ненавистью, которой только что прожечь пытался жёнушку свою. Но потом он встряхнулся. Натянуто, резиново заулыбался, выходя из-за стола. Распахнул широкие объятя, показывая потные подмышки.

– Солдатеич! Кремень-человек! Да я ж тебя люблю! Ах, Стёпа! Стенька Разин! А то посидел бы ещё. Выпил бы маленько, всё легче будет. А?

– Нет. Теперь уже не будет.

Молча вышли на крыльцо. Хозяин, раза два икнув, до калитки проводил. И вдруг насто-рожился.

– Эй! – окликнул, присматриваясь. – Кто тут?

– Так я же давеча сказал – это Доля моя, – негромко, смущённо проговорил Стародубцев и сердито прикрикнул: – Иди!

Я сейчас! Ну, кому говорю? Шаги в тишине прошуршали.

Пустовойко изумлённо поцокал языком.

– Вот это баба, – прошептал, – не то, что моя...

Они постояли ещё, невесело поговорили.

3

Ночь была. Жуткая ночь. Ни луны, ни звёздочки не видно. Никогда ещё, кажется, не было такой кошмарной ночи над землёй. И только изредка небо вдалеке распарывали молнии и до слуха едва доносились громовые орудия.

За углом сарая, покосившегося после землетрясения, Пустовойко справил малую нужду и вдруг почувствовал звериное желание любви. Так с ним всегда бывало после выпивки. Он вернулся в дом и поплотнее закрыл двери детской спальни.

Законная супруга лежала на кровати. Аппетитная, сдобная. Горячие груди, роскошные бёдра, большая корма. Он хотел подвалить к ней под жаркий бок. Всю дурную хмельную силу выхлестать хотел, чтоб замертво свалиться до утра. И вдруг жена сказала, не открывая глаза:

– Иди, проспись. Воняет, как из бочки.

«Вот баба-дура, сука, – мелькнуло в голове, – теперь не уломаешь!».

Он уже неоднократно убеждался в неприступной крепости. Ни спереди, ни сзади не атакуешь. Можно было бы силой взять, нахрапом. Такое уже случалось. И жена была довольна, между прочим. Сопротивлялась, зараза, но довольна была. Извращенка. А может, ей как раз того и хочется? Так значит, надо действовать.

Надо-то надо, но не хватало решимости. Ещё бы грамм двести решимости – и тогда бы он показал, где раки зимуют. Так в чём же дело? Надо съездить за «решимостью». Теперь и днём и ночью продают. Конечно, можно было бы за поллитровкой пешком стогнать, но зачем же себе отказывать в удовольствии, если в конюшне твоей – то бишь, в гараже – сто двадцать кобыл. При таком хорошем табуне просто грех пешкодралом топтаться по ночным закоулкам, не просохшим от слякоти.

Крыльцо было высокое. Он чуть башку не разбил, поскользнувшись на верхней ступеньке. Ключи от машины, позванивая, отлетели куда-то. Опускаясь на карачки, Пустовойко пошараборился в темноте, рыча и ругаясь по матушке. Не смог найти ключи.

Где-то за рекою шарахнул гром и ему вдруг вспомнились танки возле Белого Дома в Москве. И в душе заклокотала злоба. Горячая злоба на старых столичных козлов, которые организовали ГКЧП – государственный комитет по чрезвычайному положению. Организовать-то организовали, а ума не дали, только что-то мямлили, желудями трясли. А этот бывший секретарь свердловского обкома, чёрт беспалый, танки таманской дивизии к Белому Дому пригнал, несколько раз бабахнул и все дела.

«В Москву надо ехать! – вдруг осенило. – В Москву! Ещё не поздно что-то изменить!»

Забывая, что нету ключей от машины, Пустовойко подошёл к столбу перед воротами напротив гаража – под железной фуражкой на телеграфном столбе лампочка висела. Он включатель пальцем ковырнул.

Светло-жёлтый круглый блин упал на землю. Озарилась крыша гаража, ворота. Блаженно зевая, предвкушая поездку, Семён Азартович сделал несколько шагов по направлению к воротам – и обалдел.

Металлические, мрачно мерцающие ворота были распахнуты. Внутри плескался луч карманного фонарика. Смутные какие-то фигуры по-воровски поспешно, суетливо копошились.

Новая белая «Волга», мечта на колёсах, несколько месяцев назад за свои деньги купленная и очень осторожно, бережно пригнанная издалека, – «Волга» в эти минуты была окружена какою-то местной шпаной: решили покататься, поразвлечься.

Провода зажигания были с корнем выдраны и напрямую соединены – чтобы мотор завёлся.

Неохотно слушаясь угонщиков, «Волга» чихнула несколько раз, громко фыркнула и захрипела выхлопной трубой. Синие дымные кольца поплыли по воздуху – и легковушка медленно стала выкатываться из гаража; камешки скрипели под колёсами.

Несколько секунд Семён Азартович, словно колуном ушибленный, не моргая, смотрел на габаритные огни, на рубиново горящие стоп-сигналы, которые приближались к нему, как приближается красная тряпка к морде разъярённого быка.

Разинув рот, он даже не сразу крикнул. То ли голос пропал, то ли воздуху в грудь забыл зачерпнуть.

– Щенки! Вашу мать! А ну-ка, стой!

Косматый главарь юной шайки, сидя за рулём, выглянул из окошка.

– Партия! – нахально заорал. – Дай порулить!

В салоне раздался хохот, и «Волга» рванула с места – только пыль взметнулась под задними колёсами.

– Стой! – Хозяин следом побежал, но грохнулся, ногою зацепившись за что-то. – Поубиваю, суки! Стой!

Тормоза неожиданно скрипнули. И опять голова главаря из окошка вынырнула, белея полоской зубов.

– Догоним Америку и перегоним! – загорлопанил он. – Вперёд!

И снова – дружный хохот сопливых идиотов. И снова задние колёса завертели на таких оборотах – грязь долетела до Пустовойко, кляксами ударила по физиономии.

Сопливые автоугонщики через пару минут умчались бы в темноту – ищи ветра в поле. Но дело в том, что бензобак-то был пустой. Семён Азартович хотел с вечера заправиться, приготовил полную канистру в гараже, но оставил на утро.

«Мечта на колёсах», рыча и рыдая в неумелых руках, не сразу попала на дорогу. Прыгая на кочках и высвечивая заборы, ломая придорожные бурьяны, легковушка проколбасила метров сто двадцать и стала дергаться, как припадочная.

Понимая, что «Волга» далеко не уедет, Семён Азартович следом припустил. Спотыкался, плевался ядовитой слюной, матеря всё на свете. И вдруг остановился. И так скривился, точно по сердцу ножом поскребли.

– Скоты! Да что ж вы делаете? – прошептал он, едва не заплакав.

Переднее крыло со скрежетом зацепило телеграфный столб. Левый поворотник разлетелся вдребезги. Помятая белая жесть на крыле почернела от жирных и длинных царапин...

«Волга» шарахнулась от столба, точно пугливая лошадь, заржала на предельных оборотах и заглохла, передними копытами вляпавшись в канаву.

Дальше Пустовойко смутно помнил. Что-то жуткое, тёмное, годами томившееся заперти, – вдруг вырвалось на волю. В нём как будто проснулся другой человек или зверь, долгое время пребывавший в спячке.

Первого парня, сидевшего за рулём, он перехватил в тот момент, когда горе-угонщик, открывая дверцу, хотел сбежать.

Сграбастав сопляка за шевелюру, Семён Азартович согнул его и коленом треснул по бледной, перепуганной роже.

– Партия даёт тебе! На, падла! Порули! – процедил он, глядя, как юноша корчится на земле, градины белых зубов выхаркивает в грязную лужу.

Второго угонщика он ухайдакал неподалёку от машины – метров пять отбежал в темноту. А за третьим пришлось погоняться. Третий, поскуливая от страха, какое-то время бестолково метался по огородам, по закоулкам. Потом попал в тупик возле реки – возле обрыва. Отступить было некуда. Заполошно зыряка широко раскрытыми глазами, паренёк в отчаянье выломал жердину из ограды.

– Не подходи! – предупредил с каким-то поросычьим повизгиванием. – Убью! Не подходи!

Но через несколько секунд жердина была уже в руках у Пустовойко.

Парень с окровавленной башкой отлетел в кусты возле обрыва.

– Со старшими нельзя так разговаривать, сука, – тихо и как будто с сожалением сказал Семён Азартович. – Плохо тебя воспитал комсомол.

Отвернувшись, он направился к машине и вдруг...

Он сам потом не мог понять, что же это случилось с его головой или с сердцем? Он вдруг почти бегом вернулся к поверженному сопляку и широким, резким ударом футболиста – пушечным пыром! – опрокинул парня в глубину полночного обрыва, загаженного многолетним мусором, бытовыми отходами,дохлыми собаками и кошками.

И только после этого маленько полегчало. Треугольного покроя ноздри перестали буйно трепетать. Он присел на корточки и вымыл руки в луже. Вытер о штаны.

Покачиваясь от усталости, вдруг навалившейся, доковылял до гаража, забывая свою франтоватую походку с подвывертом. Взял канистру. Заправил машину. И медленно, медленно, как будто под музыку похоронного марша, доехал до гаража.

Возле ворот уже металась перепуганная жена, раскосмаченная как ведьмачка, с дико сверкающими глазами, с губами, исковерканными истерическими криком и плачем: она подумала, муж куда-то поехал по пьяной лавочке, но заглох недалеко от дома.

– Сёмочка! Родненький! У нас же дети! Ты подумай о них...

– Ну, что теперь сделаешь? – виновато сказал он. – Пускай не лезут.

– Кто? Погоди, ты о чём?

И тут он понял, что жена ничего не знает о случившемся. Они вернулись в дом.

– Давай договоримся так. – Он обнял жену. – Я никуда не ездил. Хорошо? – И не поедешь?

– Нет. Клянусь. До утра никуда не поеду. И никуда не ездил до утра. Ты поняла?

Жена вдруг заметила кровь на помятой рубашке. Глаза её дико расширились.

– Ты кого-то сбил? Кого?

– Корову! – Он оттолкнул её и закричал: – Иди отсюда, дура! Спи и не высывайся! Чо ты бегаешь по гаражам? Чо ты меня караулишь? Думаешь, по бабам полетел? Да если б

ты дала мне, так ничего бы не было. Я заснул бы и всё. Так ты же, курва, строишь из себя принцессу-недотрогу...

Сидя за кухонным столом, жена заплакала, уронив растрёпанную голову на скатерть, – золотая серёжка блестела, сосулькой подрагивала.

Пустовойко, сидя рядом, каменно молчал. Курил, роняя пепел мимо хрустальной пепельницы. В открытую форточку порывами врывался холодный ветер, пахнувший грозой, – пепел серыми мухами кружился по столу, слетал под ноги.

«Партия! Дай порулить! – вспоминал он дерзкую фразу и наглую харю автоугонщика. – Что это? Откуда вдруг такая наглость и такая самоуверенность? Ведь они же советские парни. Ну, может, не из самых благополучных семей, но всё-таки...»

И вдруг он сердцем вздрогнул – точно укололся о длинную цыганскую иглу, спрятанную где-то под рубахой.

Его пронзила мысль простая и в то же время кошмарная. Всё дело в том, что местная шпана уже глотнула воздуха великой русской воли, которая всегда граничит со вседозволенностью. Шпана вдруг чётко осознала, что теперь за ЭТО ничего не будет. Союза нет. Закона нет. Гуляй, губерния. Но это была только одна сторона новоотчеканенной медали. Сторона, безусловно, страшная. Но если на другую сторону взглянуть – ещё страшнее будет. Самый «страшный страх» заключался в том, что он, взрослый мужик, да к тому же вчерашний идейный пахарь, он точно так же, как шпана, вдруг чётко осознал: НИЧЕГО ЕМУ ЗА ЭТО НЕ БУДЕТ. Пускай сгоряча и пускай ненадолго, но именно этим паскудным чувством он руководствовался, когда метелил автоугонщиков. Метелил до крови, до хруста переломанных костей.

«Кстати, насчёт крови! – вспомнил он, нахмуриваясь. – Рубаху надо застирать. Эта дура захрапела прямо за столом. Ладно, сам застираю, а то опять начнёт скулить и причитать...» Над крышей разломилась громада грома. Штукатурка с потолка посыпалась. Ветер в палисаднике зашумел, завыл и растрепал деревья. Ветки застучали по стеклу. И опять шархнул гром, сверкнула молния. И зачастил холодный жёсткий дождь – крупной дробью затарахтел по жестяным подоконникам.

Жена, проснувшись, подняла глаза к потолку, и Семён Азартович увидел слёзы на её щеках. Так показалось. Но жена была крепкая баба – плакала редко.

– Сёма, – она вытерла каплю со щеки, – крыша прохудилась.

И только тогда он обратил внимание на потолок, пострадавший после землетрясения. Там разрасталось голубовато-жёлтое пятно, в середине которого подрагивали бусинки дождевой воды.

Отодвинув стол на середину кухни, он тазик поставил на пол – с потолка закапало всё чаще, громче...

– Разруха не в доме, а в голове, – заметил он, жёстко добавляя: – В люльку! Живо!

Сделавшись покорной и покладистой, жена в темноте спальни комнаты расторопно скинула халат, сняла ночную рубашку – искры неожиданно посыпались, пощёлкивая. Она легла, расплывшись полным телом. Привалилась к нему. Но всё это, кажется, было уже без надобности.

Какое-то время он лежал, как бревно с обломленным сучком. Ощущал разгорячённое тело под боком. Ощущал даже сердцебиение под рукой – ладошку нарочно положил на бугор, увенчанный горошиной соска. В горле у него что-то хрипело. Он сердито сопел, как будто сам себя старался распалить. Но бестолку. Перед глазами, как на зло, мелькали картины избиения младенцев, которые сначала хохотали и кричали «Партия, дай порулить», а потом красными соплями умывались.

Семён Азартович поднялся, попил воды и покурил за кухонным столом, где стояли хрустальные рюмки, сияющие звёздами Кремля. В этих рюмках надыбал он два-три напёрстка

водки, жадно проглотил и ненадолго провалился в забытье – широким лбом впечатался в прохладную скатёрку.

4

Утро было чугунным. Тяжеловесным. Свежие новости по телевизору, которые тогда назывались «Утренний кофе в постель», напоминали ушат с холодной водой или помоями. Новости – под флагом новоиспечённой демократии – выходили одна другой страшней.

В центре Москвы – пожар, поджог и есть погибшие. А где-то в горах на Урале обрушился железнодорожный тоннель, своды которого пострадали после землетрясения. Замурованными оказались два десятка пассажирских вагонов. Железнодорожники и взрывники ведут спасательные работы. А где-то – по всему пространству бывшего Советского Союза – кто-то кого-то ограбил; избил, застрелил, зарезал. В Калининграде на рейде теплоход едва не затонул из-за разгильдяйства пьяного капитана. Заключённые в Магадане совершили побег, завладев оружием и застрелив начальника зоны. И так далее, и так далее.

Семён Азартович с неопохмелившейся каменной башкой слушал эти новости и уныло подумал, что ему, как Стародубцеву, охота с колуном наброситься на телевизор.

И в то же время, подсознательно отметил Пустовойко, последние новости послужили ему утешением и даже оправданием своего поведения. Бесчинство, которое он сотворил прошлой ночью, померкло на фоне «разбойного разгула демократии», как подумал Семён Азартович, выходя во двор.

На улице было свежо. Иней сахарком присыпал палую листву, полыни вдоль забора присахарил. Ледок серебряным расплавом залудил вчерашние глубокие следы, лужи застеклил. Река за огородами так лениво тянулась, будто ещё не проснулась. Река текла в таком густом тумане, точно волос у реки, за ночь поседевшей, поднялся дыбом – от страха и ужаса, пережитого в темноте.

Петухи по сараям давно уже пропели побудочную песню, но солнце разбудить не смогли. В небесах было пасмурно, ветрено.

«Пришла весна, настало лето – спасибо партии за это!» Пустовойко мрачно усмехнулся, вспоминая эту народную присказку и думая, что вот сейчас, в это осеннее промозглое утречко, партия забыла солнце выкатить в небо. А если точнее сказать – у партии отняли это право. Самым наглым образом отняли. Экспроприировали. Только сами-то они, новые хозяева страны, даже не знают, с какого боку подступиться, чтобы лапки не обжечь и солнце на рассвете под окна людям выкатить.

Такие мысли медленно ворочались в больной, но аккуратно причёсанной голове.

Бегло осмотрев машину, пострадавшую после вчерашнего лиходейства, Семён Азартович поехал на работу. Дорога после ночного дождя там и тут разлужилась, кое-где густая грязь залубенела, создавая впечатление свежего асфальта.

Он по уши зарюхался недалеко от дома. Буксовал, матерился, выходя из машины и заглядывая под колёса. Изгваздался весь, пока выбрался.

Пришлось домой вернуться, костюм переменить, хотя и так, наверно, можно было бы теперь явиться на работу. Никто уже не обращал внимания, как и во что одет товарищ Пустовойко. Партийные организации по всей стране сворачивались, как береста на огне. И так же стремительно сворачивалось отношение к бывшим коммунистам. И всё больше и больше находилось таких лизоблюдов и прихлебателей, которым хотелось плюнуть в сторону прежней власти, чтобы заслужить доверие у новых власть предержащих.

О, как это знакомо на просторах Матушки-Руси! И не так ли было после революции семнадцатого года? Всякий холоп и всякая холопка так и норовили укусить, лягнуть и опорочить своего вчерашнего хозяина. Они врывались в особняки, золотую мебель крошили топо-

рами. Они сморкались в бархатные занавески и норовили нагадить на серебряном блюде, из которого позднее этот же самый холоп с превеликим аппетитом будет не кушать, но жрать. С революционным огоньком в глазах разбойники эти занимались насилием. Стреляли из наганов или резали обыкновенным кухонным ножом. Они с удовольствием примеряли наворованные тряпки, потому что рубаха казнённого всегда палачу достаётся. А вчерашний палач, хлопотливый холоп – это завтрашний барин. Так уж повелось на просторах Матушки-Руси. И не так ли всё было теперь? И могло ли быть как-то иначе?

5

Солидная дверь кабинета сверкала ледовито-серебристой табличкой. В эту дверь обычно вежливо стучали и даже робко, унизительно скреблись, как скребётся кошка в дом хозяина. Так было раньше. А теперь...

Незнакомый холоп, ещё не ставший баринком, но уже почуявший ветер перемен, вдруг беспардонно влетел в кабинет – дверь не закрыл за собой.

– Ты мне за это ответишь! – закричал и ногами затопал, оставляя грязные следы. – Я это так не оставляю!

Страдая с похмелья, Семён Азартович тупо, вяло собирал многочисленные пухлые папки, связывал кипами, «скирдовал» по углам. На подоконнике и на полу громоздились кирпичи партийной литературы.

Равнодушно посмотрев на холопа в серой сермяге, Пустовойко с трудом узнал завхоза здешней администрации – Иннокентия Васильевича Гарева.

– В чём дело? – утомлённо спросил Пустовойко, продолжая своё занятие. – По какому вопросу?

Сермяжный пиджак возмущённо встопорщился. Кулаками по воздуху заколотил.

– Ты сядешь в тюрьму! – закричал он, как будто кликушествуя. – Сядешь! Сядешь! Кончилось поганое время твоё!

И Пустовойко сел – хороший кожаный стул коротко скрипнул под ним.

– Только не надо тыкать, дорогой товарищ. Что случилось? – Я тебе не товарищ! – Серый пиджак с кулаками подступил к нему, готовый наброситься, но всё же холопская кровь была прохладна, трусовата.

Вздыхая, Семён Азартович достал сигареты. Посмотрел на телефон, давно уже молчавший.

– Давайте по порядку. Что за истерика? Вы о чём? – О том, что было ночью! Ты прекрасно знаешь!

Пустовойко закурил. За дымовой завесой ему стало как-то уютней. Спокойней.

– Нет, не знаю, сударь. Извольте объясниться. – Что? Залил шары? Забыл, как мальчишек метелил?

– Сударь, да вы успокойтесь. Зачем же кричать? Так ведь можно горло простудить. – Семён Азартович даже сам удивился тому пренебрежительно-уважительному тому, какой он взял в самом начале беседы. – Присаживайтесь, сударь. Я вас слушаю.

– Я тебе не сударь! – с некоторой гордостью заявил завхоз. – Странно. – Семён Азартович усмехнулся, обращаясь к бронзовому бюсту Ленина. – И не товарищ он мне, и не сударь.

– Перестань паясничать! Ты за всё ответишь! Пустовойко соринку-табачинку сплюнул, по-прежнему не глядя на Гарева.

– Тебе чего тут надо, милый? А? Тут уже не подают. И никого тут уже не принимают. Ты ещё не понял? Всё. Проехали.

– Это ты не понял! А я тебе щас в морду дам и ты поймёшь! Скотина! – Завхоз на минуту взъярился и неожиданно замер с широко раскрытыми глазами.

Бешено бледнея, Семён Азартович машинально в руки взял трёхкилограммовый бронзовый бюст В.И. Ленина. Хотел швырнуть в паскудного завхоза. Но вместо этого – неожиданно для самого себя – Пустовойко медленно, со скрипом и страшным скрежетом свернул башку великого вождя – то ли бронза оказалась никудышная, то ли ярость была запредельная. Но так или иначе – Ленин оказался обезглавлен.

Завхоз обалдел, глядя на блестящую голову вождя, ставшую похожей на ядро, чуть дрожащее в ладони Пустовойко.

Муха в тишине жужжала, чёрной горошиной об стекло колотилась.

– А теперь ступай, голубчик, – тихо попросил Семён Азартович, полыхая полусумасшедшими глазами и раздувая треугольные ноздри. – Иди, пока я и тебе не открутил башку.

Оставляя комья грязи на паркете, Гарев испуганно захлопнул дверь, но через несколько секунд пепельно-седая голова опять в кабинет просунулась.

– Ты сядешь! Сядешь! – снова стал он беду накликивать. – Кончилась ваша поганая власть!

Пустовойко вяло замахнулся бронзовым ядром, но не бросил – дверь поспешно захлопнули.

Подойдя к столу, почмокав погасшей сигаретой, он пробормотал:

– А ваша поганая власть только-только ещё начинается, и ещё неизвестно, что хуже.

Какое-то время он понуро стоял, глядел в окно, за которым виднелось от ливня промокшее складское хозяйство Гарева. «Теперь он в люди будет выбиваться, – равнодушно думал Пустовойко. – Может быть, даже работу найдёт за границей. Будет завхозом какого-нибудь посольства у папуасов или в Зимбабве...»

Голова ещё сильнее разболелась после нервотрёпки с этим чёртовым завхозом. Спрятав руки за спину, Семён Азартович прошёлся по кабинету, едва не наступая на плакаты, призывающие не допускать головотяпства, беречь и преумножать народную собственность.

«А кто же из тех троих оказался его сынком? Кажется, ему, сыночку Гарева, года четыре назад я помогал путёвку доставать в Артек».

Болезненно скуксившись, Пустовойко попытался вспомнить лица вчерашних парней, сопливых автоугонщиков, но тут же заставил себя переключиться на более серьёзное дело. Нужно было припомнить, куда он вчера ключ от сейфа засунул. На старом месте – за «Капиталом» Маркса – ключа не оказалось. Куда-то заныкал. И теперь, наверное, придётся всех партийных классиков перетряхнуть.

Облака над райцентром понемногу редели, в кабинете светлело. Открученная голова вождя, лежавшая на подоконнике, всё ярче блестела отполированной лысиной, словно бы там разгоралась какая-то яркая мысль. И Пустовойко, глядя на голову вождя, чуть не крикнул: «Эврика!»

Он вспомнил, где находится ключ. Вспомнил даже быстрее, чем хотелось. Дело в том, что в сейфе был коньяк, и если бы ключ не нашёлся – пришлось бы терпеть до обеда.

Несколько минут посомневавшись, Семён Азартович достал бутылку из сейфа – дорогая, пятизвёздочная, давненько уже початая, припудренная пылью былой эпохи; в последний раз он, кажется, пил при советской власти. Да, пожалуй, что так. Напиток этот редко выставлялся, только если кто-то из Области заглядывал сюда, или московские гости прилетали с плановой проверкой.

Раньше Пустовойко был равнодушен к выпивке. И теперь ему было странно и дико, удивительно и как-то нервно весело – налить и шандарахнуть соточку на рабочем месте да к тому же в гордом одиночестве, как это делает всякий себя уважающий алкоголик.

Коньяк расплескался по жилам и жилочкам, по сердцу блаженным огнём полыхнул.

«Давно уж надо было. Кого, чего бояться? Кому ты, Сёма, на фиг нужен? Всё! Наступила анархия – мать порядка. – В голове просветлело и вспомнился Пьер Джозеф Прудон, теоретик

анархизма, у которого, между прочим, сказано было не так: – Республика есть позитивная анархия. Взаимная свобода. Свобода не дочь, а мать порядка. Вот как это звучит. А мы не знаем ни черта, верхушек нахватались и подавай нам анархию, мамку беспорядка!»

Он тяпнул ещё и зачем-то понюхал открученную бронзовую голову вождя, похожую на золотое райское яблоко. Засмеявшись под сурдинку, закурил, поглаживая грудь. Ему вдруг захотелось петь, плясать – бесшабашно гусарить напропалую. Только весёлости хватило ненадолго.

Телефонный звонок отрезвил.

Майор милиции, давнишний приятель, можно сказать Акива Акинадзе, наряжённым голосом сухо доложил, что у него на столе – целых три заявления.

Сердце противно дёрнулось, но Пустовойко ещё хорохорился.

– А я причём? – спросил небрежно, отмахиваясь от табачного дыма.

– А ты не догадываешься? – В трубке усмехнулись. – Ты вчерашний день хоть помнишь?

– Погоди. Не телефонный разговор. У тебя, Акива, найдётся пять минут?

Забывая о выпитом коньяке, Семён Азартович заторопился к машине, втайне радуясь тому, что в своё время «пригрел» майора, помог ему выкрутиться из трудной ситуации, когда он, тогда ещё капитан, мог потерять и погоны, и должность.

Проехав метров тридцать, он нажал на тормоз и подумал: «Всю дорогу, чёрт возьми, на уши поставили!»

Здание райкома, примерно полвека назад воздвигнутое в строгом сталинском стиле, парадным крыльцом выходило на площадь, и зимой, и летом не только прибранную, но даже прилизанную – целый штат obsługi содержался. А теперь эта площадь выглядела так, будто Мамай прошёл. Повсюду валялись какие-то драные ящики. Чёрная тумба, похожая на броневик, торчала в углу. Куча мусора тлела – дымок сизым хвостом помахивал. Ровно подстриженные кусты – живая изгородь – в нескольких местах варварски поломана, разжужкана. Тёмно-рыжие курганы земли, вынутой ковшом экскаватора, взгромоздились по краю площади. Здоревенная труба теплотрассы мерцала на солнце, напоминая выдранную земную ось, побитую золотухой ржавчины.

«Весь районный центр на уши поставили, – раздражённо думал Пустовойко. – После кошмарного землетрясения почти все теплотрассы в области нуждаются в капитальном ремонте, а денег не выделяют – ремонтируй, как можешь, или зубами всю зиму щёлкай».

Стараясь не разозлиться и не поехать под запрещающий знак, Семён Азартович покрутился по разбитым объездным путям и, наконец-то, выехал из лабиринта.

6

Милиционер стоял на крыльце. Курил под каменным козырьком, на котором беззаботно чирикали воробьи. Лицо сорокалетнего майора сытое. Глаза, тенью от козырька прикрытые, напоминали глаза кота, которому не только что мышей ловить не хочется – и на сметану уже наплевать. «Трудовой мозоль» его, перевесившийся через ремень, кобуру закрыл – не сразу найдёшь по тревоге. Акива Акинадзе, судя по всему, неплохо вписался в это смутное время. Может быть, кого-то защищал от бандитов – крышевал. Или наоборот – сам занимался криминальным промыслом, прикрываясь погонями, что было теперь не в диковинку. Тем более, что Акинадзе – хороший драчун, первоклассный, можно сказать, мордобоец – это подтвердить могут многие, с кем он работал в спарринге в спортзале, не говоря уже о тех, кто попадал в милицию во время его дежурства.

– Только давай покороче, – предупредил Акинадзе, забравшись в «Волгу». – Белоцерковский совещание назначил на десять.

– Ну-у! – Пустовойко посмотрел на часы. – Успеем! Они отъехали немного, свернули в переулочек и остановились на берегу. Заржавленный катер виднелся внизу. Старый пароход с выбитыми иллюминаторами. Зябкие туманы, особенно густые после дождя, облаками наплывали со стороны реки, разодрано тянулись по лугам, космато застревали в соснах, стоящих неподалёку. Ветер, порывисто налетающий с севера, охапками раздёргивал туманы, раздевал свинцово-синюю реку – внизу появлялась и вновь исчезала здоровенная баржа, капитально севшая на мель.

Майор, похрустывая кулаками, в общих чертах обрисовал печальную картину с заявлениями. Среди пострадавших был не только сынок завхоза – это ещё мелочь. Там пострадали такие сынки, что не дай бог. Дело принимало серьёзный оборот, потому что был уже звонок из Области. Большие, серьёзные люди неожиданно взялись копать под Семёна Азартовича.

– Повод у них появился, – озабоченно сказал майор. – Тебя за жабры могут взять за вагон урюку.

Пустовойко хотел, было, спросить, про какой вагон урюку он буровит, но тут же вспомнил – это присказка такая у Акинадзе.

Больную голову на берегу приятно обдувало свежим ветром, но Семён Азартович всё равно с трудом соображал.

– А Белоцерковский знает об этих заявлениях? – Нет. – Майор закурил. – Он пока не в курсах.

– А ты можешь сделать... – Договаривая фразу, Пустовойко понизил голос до шепота.

– Да ты что? – удивился Акива, сверкая выпученными глазами. – Я даже за вагон урюку не соглашусь.

– А что теперь делать? Как быть?

– Не знаю. – Поправляя фуражку, майор посмотрел куда-то в сторону райцентра и увидел крышу больницы. – Позвони Жизнелюбу. У вас же отношения нормальные?

– Вполне. Он только вчера был у меня. На «скорой» прикатил с бутылкой спирту.

– На «скорой»? О! Идея! Слушай, а пускай он справку тебе выпишет.!

– Какую?

– С печатью! – Зажимая в зубах папиросу, майор кулаком ударил по своей ладошке. – Справку о том, что ты вчера... Ну, грубо говоря, был при смерти.

Пустовойко хмыкнул. Треугольные ноздри его затрепетали. – Думаешь, поможет?

– Алиби. Не подкопаешься.

– Вчера был при смерти, сегодня за рулём? – Семён Азартович нахмурился. – Да нет, не в этом дело. Не согласится Жизнелюб. Я его знаю.

– Что? – Майор фуражку сдвинул на загривок. – Принципиальный?

– Не то слово.

– Ну-ну! – с каким-то зловещим удовольствием проговорил Акива. – Посмотрим, что теперь будет с этими принципами.

– Что ты хочешь сказать?

– А ты не видишь, что происходит? – Акинадзе швырнул окурок под обрыв и сплюнул. – Вон они, пираты, посмотри. Налетели на вагон урюку. Рвут и мечут. Ай, молодцы.

Под обрывом на мели виднелась баржа, накренившаяся на левый борт, – справа обнажилась полоса ватерлинии, ниже которой виднелось облупившееся красное днище, похожее на куски сварившегося мяса. К левому борту – одна за другой – приставали моторные лодки. Мужики что-то хватали с палубы, торопливо грузили, торопливо отчаливали.

– Кормильцы, – мрачно похвалил Семён Азартович. – На кого им теперь надеяться? Только на себя.

Они ещё негромко и серьёзно обмолвились по поводу проблемы Пустовойко. Майор отвернулся от берега. Посмотрел на часы.

– Ну, всё. Мне пора. Белоцерковский тоже человек принципиальный. Не прощает опозданий. А ты... – Майор кулаками опять похрустел. – Короче, делай так, как я сказал. Другого выхода пока не вижу.

Пустовойко сел за руль и так задумался, глядя куда-то вдаль, – майору пришлось потрепать его по плечу. Ожесточённо врубая скорость и едва не проезжая на красный свет, Пустовойко отвёз майора на то место, откуда забрал.

– Спасибо, что позвонил. – Семён Азартович потискал потную пятерню приятеля. – Будь здоров. Когда ещё увидимся теперь?

– Когда-нибудь. Мир тесен.

По-дружески крепко обняв Пустовойко и пожелав ему счастливой дороги, майор, топоча подкованными каблуками, проворно поднялся в прокуренный свой кабинет. Снял фуражку. Волосы пригладил – непокорные, жесткие.

На стене – напротив стола – висела ориентировка на грабителей банка в соседней области. Молодые совсем ещё, безусые гангстеры смотрели на майора. И один из них как будто заговорщицки подмигивал – светотень играла от ветки за окном.

«Везёт же людям!» – саркастически подумал Акива, фланируя по кабинету. Потом он снова сел на твёрдый стул. Побарабанил пальцами по столу, заваленному бумагами. Подумал о чём-то. Посомневался минуту-другую. Потной рукой решительно взял трубку и позвонил.

– Информация в наше время дорого стоит, – заговорил он будто бы шутливым тоном.

– Говорите! – строго перебили. – Какие новости? Майор поправил кобуру на «трудовой мозоли». Поднялся, глядя за окно.

– Сегодня, а лучше прямо сейчас вам нужно быть на вокзале, чтобы не упустить. – Акива отчего-то вдруг занервничал и неожиданно грубо закончил: – А если он проскочит до Москвы, я не смогу помочь вам даже за вагон урюку...

Пустовойко не знал о таком вероломном предательстве. Он всё ещё пребывал в плену иллюзий, одна из которых называлась когда-то «бескорыстная дружба мужская». Но, даже не зная о крушении этой иллюзии, Семён Азартович подстраховался, шкурой ощущая опасность. Он решил стороной обойти провинциальный вокзал, где поезда всего лишь на минуту останавливались один раз в день. А после печального землетрясения пассажирский поезд на том вокзале можно было ждать, бог знает, сколько – на железной дороге постоянно шли ремонтные работы.

7

И чем дальше тогда отъезжал он от родного края, тем сильнее крепла в нём уверенность: ничего ему за ЭТО не будет. И очень, очень скоро он вообще забудет о своём «невинном» преступлении, которое он ночью совершил в состоянии аффекта. Капля его преступления скоро бесследно исчезнет в море-океане всевозможных преступных дел, которые широко и глубоко разольются по всей стране. И все эти преступники – кто в белых воротничках, кто в чёрной пролетарской робе – все они, так или иначе, будут уповать на безнаказанность, на вседозволенность: ничего им за ЭТО не будет.

Пустовойко, обосновавшийся в Москве, какое-то время был способен заниматься самокритикой. Особенно в пору бессонницы.

«В новой стране, – думал он, – страх у людей пропал. Но сначала пропала совесть. Хотя, быть может, совесть – это синоним божьего страха, который душу держит в узде!»

Однако же позднее, когда Семён Азартович сам благополучно заступил за черту миллиона рублей – эти деньги в ту пору считались бешеными – он уже не думал ни о страхе, ни о совести. Он просто жил, как живёт новоиспечённый русский буржуа. А впрочем, нет, он жил не просто так. Он стал другим человеком.

8

Фантастическое перерождение иногда происходит с людьми, на которых неожиданно-негаданно обрушивается большое испытание – славой, деньгами, войной. И немногие, ой, как немногие могут с чистой совестью сказать себе и людям, что эти испытания пройдены дорогою прямой. Чаще всего получается, как в той присказке – куда кривая вывезет. Вот на этой «кривой козе» прокатиться пришлось и ему, Семёну Азартовичу.

За короткий срок переродился он, да так – как будто сам в себе перекувыркнулся с ног на голову.

Он стал человеком искренне верующим – только не в церковном смысле, нет. Пустовойко теперь твёрдо и безоговорочно верил: человеку при деньгах – особенно при сумасшедших деньжищах – закон вилами писан по воде. И верил он в это не слепо.

День за днём и год за годом жизнь в России подтверждала, жизнь подкидывала всё новые и новые примеры беззакония и безнаказанности. Новоиспечённые господа, усердно-криминальными трудами заработавшие себе на расстрел или, в крайнем случае, на пожизненное заключение – беззаботно и вольготно загорали на лазурных берегах по заграницам; безоглядно куражились, кто как мог, сибаритствовали с молодыми любовницами, покупали старинные особняки, самолёты, вертолёты, белоснежные яхты, спортивные клубы и всякую другую «мелочевку».

В чем больше Пустовойко ездил в командировки или на отдых по разным странам и континентам, тем жарче разгоралась, прямо-таки золотом сверкала его любовь к своей родной стране. И не потому, что был он патриот, отнюдь. Всё дело в том, что, как сказал один остряк: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышится вору!»

Временами его донимали кровавые сны. Пустовойко отчётливо видел расстрелы коррумпированных чиновников – образцово-показательные, жуткие расстрельбища в Китае, где он побывал в командировке. Снились ему руки, отрубленные за воровство, – высокие и длинные поленицы, запёкшиеся тёмно-красной смолой. Снился желтолицый миллиардер Лю Хань, за несколько мгновений до расстрела ставший простым бледнолицым, который в яму рухнул с пробитой головой, отяжелевшей тремя пулями, почти в упор разворотившими затылок.

Просыпаясь в холодрыжном поту, Пустовойко выпивал рюмаху водки и зажигал свечу перед старинной иконой, усыпанной драгоценными камешками, – эту икону ему посчастливилось по дешевке выкупить у одного пьянчуги, бывшего коллекционера.

Молиться Пустовойко не умел, но то, что он думал в эти минуты, напоминало странную молитву благодарности, которая могла бы звучать примерно так:

– Господи! Боже ты мой! Как хорошо, что я живу не в Китае! Только в моей родной стране, такой гуманной, я могу воровать и при этом не бояться руку потерять. Только здесь я могу взятки брать и давать, и при этом не бояться расстрела. Только здесь человек может бесконечно балаболить о борьбе с коррупцией и при этом быть едва ли не самым большим коррупционером. Только здесь практически всегда можно грабить народ и одновременно с этим всегда теоретически защищать этот самый народ, красноречиво с самой высокой трибуны. Господи! Как хорошо, что Россия наша – это не Китай! И не дай-то Бог, не допусти, Господь, такого безобразия, чтобы китайцы нас завоевали. Всё тогда, хана. Одна половина правительства будет тогда ходить с отрубленными руками, а другую половину расстреляют, не говоря уже об олигархах и более мелких воришках, гордо именуемых бизнесменами.

Вот такая молитва была у него, заматерелого атеиста.

А иногда ему снился кошмар, который был даже страшнее многомиллионных китайских отрубленных рук и многотысячных китайских расстрелов.

Сингапур ему снился – страна, где чиновники взяток совсем не берут и никто не плюёт на асфальт.

«Этого никак нельзя понять – это хуже всякого расстрела!» – думал Пустовойко в своём кошмарном сне, в котором он фланировал по Сингапуру, по стране с повышенным содержанием экзотики и с повышенным содержанием честности, такой кристальной честности, какой не должны быть в природе, а вот поди ж ты – она была и есть. Необыкновенная эта страна живёт себе, на зависть многим, живёт и процветает, напоминая райский уголок, обсыпанный белосахарными песками, уютно обставленный пальмами, облизанный морем.

Часть вторая. Защити и сохрани

Глава первая. Холода

1

Зима в старгородской стороне всегда отличалась добродушным характером. Придут, бывало, первые снега и первые морозы – снегирей нарумянят, накрахмелят поля и луга – залюбуешься. И в таком беспечном любовании встретить можно было и декабрь, и январь. «Зима в летнем платье, – говорил Стародубцев. – Сладкая зима. Такой снежок и в сахарницу можно засыпать, чай гонять...»

Но в тот приснопамятный год, когда захворала жена, погода как будто взбесилась. Первые «белые мухи» сделались похожими на пчёл – немилосердно жалили в начале ноября. А в декабре тем более. День за днём и ночь за ночью угрюмое низкое небо сыпало сыпом суровый свинец, как это бывало на передовой. Там снеговёе зачерпнёшь – воды натаять, чаю вскипятить, а в котелке три-четыре пули брякают.

Большие снега за окном перемежались большими морозами. Каждую ветку на дереве куржаком бинтовало. А бельевая верёвка, протянутая через двор, становилась похожей на косматый канат, с помощью которого могут швартоваться заокеанские лайнеры. Погода отпускала на денёк-другой, подмигивала солнцем в облаках, но чуткие птицы не верили. Воробы возле курятника проворно собирали пух и перья – готовились к морозам. Вороны и галки, нахохлившись, чёрными грушами на вершинах деревьев сидели, предвещая мороз. Красновато-кровяные кольца в вечернем сумраке дрожали вокруг луны – обещали опять-таки сильный мороз.

– Придавило нынче, как в Сибири, – говорил Солдатеич. – И никто ведь нас не наградит «Орденом мороженого мяса». А я, считай что, с детских лет – орденосец. В первом классе, помню, отморозил мясо на щеках...

Доля Донатовна смотрела с недоумением. – Ты про какое мясо говоришь? – Забыла, мать? Эх, ты...

Жуткая зима была тогда, на переломе сорок первого и сорок второго года. Временами припекало так нещадно – даже сибирские дивизии покрывали. А про немца и говорить не приходится. Доблестная армия Вермахта, не готовая к такому русскому сюрпризу, погибала не только от боёв – зверский холод загрызал. И вот тогда была придумана немецкая награда для солдата Восточного фронта, героически прошедшего русские морозы. И награду эту сами фрицы стали называть – «Орден мороженого мяса».

Солдатеич поднимался рано. Поплотнее утепляясь, выходил во двор и начинал воевать со снегом, окровавленным пятнами снегирей. Усердно лопатил сугробы. Кряхтел и потел, забывшая о своей повреждённой ноге. И только иногда вдруг замирал и чуть не приседал – боль ступню простреливала. Он бросал лопату. Брал очередное беремя дров, тащил в избу.

– Замёрзла, Доля? Ничего. Сейчас накочегарим. Накашеварим. Я тебе таблетку дам, укол поставлю. Всё будет нормально.

Жена молчала. Только вздыхала. А иногда вдруг жалобно просила:

– Стёпа, ты валенки надень на меня, а то ноги мёрзнут под одеялом.

У него в глазах темнело от тоски и дурного предчувствия. Он уходил за печку и долго там валандался – валенки не мог найти. Нагретые на русской печи, суровую дратвой подши-

тые валенки воскрешали в памяти жуткие стихи, написанные на фронте молодым танкистом Дегеном:

Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай-ка лучше сниму с тебя валенки,
Нам ещё наступать предстоит.

– Ты чего там бормочешь? – стонала Доля. – Где валенки? Я скоро совсем околею.

Он готов был заплакать, но всё же бодрился. Обувал жену и укрывал – второе одеяло доставал, полушубок с вешалки снимал. Стараясь хоть как-то развеселить жену, приободрить, он провозглашал:

– Сейчас я тебе расскажу улыбайку про валенки! Теща у солдата была такая вредная. Представляешь? Наденет разные валенки – белый и чёрный, и ходит по деревне, говорит, вот, мол, какой зятьёк у меня, даже одеть не может по-человечески!

Улыбайка была не придуманная, и потому Стародубцев совершенно искренне потешался. А жена смотрела на него совершенно серьёзно и даже пугливо – душа у неё находилась уже по ту сторону смеха, там, где только плачут.

– Ничего, – хорохорился он, – сейчас будет Африка. Сверкающим ножом, который скалился от холодного солнца в окне, Солдатеич проворно и ловко чиркал сухостойное полено – тонкие стрелы с наконечниками смолья разлетались по полу. Он собирал эти стрелы, хрустко переламинал в руках. Но долго хорохориться не получалось. Духу уже не доставало.

Вяло чиркая спичками, он смотрел на золотисто-красных петухов, начинающих драку в печи, – только пух и перья по сторонам летели.

Петушиное пламя в печи бойко билось почти до обеда, а к вечеру в доме опять становилось зябко, неуютно. Раньше достаточно было одной истопли – десять, двенадцать поленьев. А теперь – сколько не топи, казалось, – тепла не будет. В чём дело? Что случилось? Или морозы такие свирепые, или огонь стал не такой, какой был вчера?

Печальный домашний философ, он сидел возле печи и рассуждал:

– Подменили огонь на Руси, как подменили знамя над страной. Огонь всегда был красный, а теперь – серо-буро-малиновый с прокисью. Вот почему от него – ни жарко, ни холодно. Но самое главное, Доля, самое страшное – огонь подменили не только снаружи. Огонь стал меняться внутри. Русский дух наш, огонь золотой, незаметно стал менять свою окраску, песню, пляску. И даже мысли наши стали меняться.

– Какие мысли? Ты об чём? – шептала Доля. Он молчал. Тяжело ему было признаться.

Глядя на то, что творится в стране, осенившей себя новым знаменем, Солдатеич порою уже сомневался: а надо ли было ему воевать за такое светлое будущее, от которого теперь в глазах темно? Ещё недавно он был уверен, что все жертвы на пути к Победе – кошмарные жертвы! – были просто необходимы. Жертвы эти были не напрасны. И вдруг пошатнулась уверенность в этом. Хотя не вдруг, нет-нет. Уверенность день за днём расшатывали всякие поганые газеты, которые кто-то бросал ему в почтовый ящик.

– Фашистские газеты стали выпускать, но тока почему-то на русском языке. – Он рассвирепело разорвал газету, бросил на растопку.

– Что ты буровишь, Стёпа? Как это так – фашистские? – А вот так. Дожились.

– А ну-ка, почитай.

– А надо ли тебе? И так болеешь. – Надо, Стёпочка, надо. Чего уж теперь...

Он очки напяливал и, шевеля губами от усердия, читал о том, как Сталин обезглавил верхушку РККА – рабоче-крестьянской красной армии. Читал о сомнительных заслугах маршала Жукова, который зачастую брал не умением, а числом.

– Разгром РККА летом 1941 года, – читал Стародубцев, – является величайшим позором в мировой истории. Красная Армия потеряла тогда пять с половиной миллионов солдат и офицеров убитыми, попавшими в плен и пропавшими без вести. Бездарное руководство РККА до войны дало возможность Вермахту за первые 18 дней продвинуться вглубь нашей страны на 450 километров, разгромив при этом основные силы кадровой Красной Армии, захватив огромное количество пленных и трофейного оружия. За первые полгода войны были потеряны гигантские территории, около 20 тысяч танков, почти вся авиация и множество артиллерии... – Солдатеич зубами скрипел. – Ты слышала, Доля?

Жена, ослабленная болезнью, спала. И хорошо, что спала. Солдатеич взволнованно ходил по горнице. Брал полено – подбросить. Осторожно, чтоб не заскрипела, открывал чугунную дверцу. Смотрел в бушующее пламя и вдруг холодел. «Бьётся в тесной печурке Лазо!» – вспоминал он то, что недавно прочитал в разделе юмора на последней странице. «Что происходит? Куда мы катимся? – ошеломлённо думал Солдатеич. – В Прибалтике эсэсовцы выходят на парад, а сопляки, при полном попустительстве властей, там сносят памятники советским воинам. Мир потихонечку сходит с ума? Или что это?»

Заскрипела кровать под женою. Проснулась.

– Ну, так что ты замолчал? – прошептала она. – Дай таблетку и читай.

– Оно тебе нужно?

– Ну, как не нужно? Врач прописал.

– Да я не про таблетку. Я про эту галиматью.

– А может, не галиматья? Может, нам слишком долго мозги промывали.

– Доля! Я тебя не узнаю. Что ты буровишь?

Утомлённо улыбаясь блеклыми губами, Доля Донатовна переводила на шутку:

– Я как в зеркало гляну, так сама себя не узнаю. Ну, так и что там? Сам читаешь, а мне не даёшь.

– Там про блокаду Ленинграда. – Солдатеич снял очки, глаза потёр и начал пересказывать своими словами. – Во время блокады умерло почти семьсот тысяч человек. Ну, вот этот щелкопёр и спрашивает, кому, какому Богу, дескать, мы принесли эти жертвы? И зачем они были нужны? Если бы каждый из нас представил, что на месте умершего блокадника находится его мать или сестра, или жена, его сын, его брат и отец – тогда, наверняка, мы твёрдо бы сказали: нам эта блокада не нужна, нам всё-таки дороже человек, чем эти камни, которые, конечно, представляют большую историческую ценность.

– Дак, может, и правда?

– Не знаю. – Солдатеич с трудом сдержался, чтобы не вспылить. – Щелкопёр говорит, что Кутузов когда-то сдал Москву Наполеону. И ничего – пережили. Хотя Москва – сердце России, предавать которое немислимо, позорно. Однако мы со школьных лет твердим, что это было не напрасно: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром, Москва, спалённая пожаром, была французу отдана...» А ведь можно было упереться, говорит щелкопёр. Можно было героически стоять, защищая символ России. И тогда бы Кутузов понапрасну положил сотни тысяч русских жизней. Теперь, конечно, кощунственно думать о том, что блокада Ленинграда была ни к чему. Но куда кощунственней – выставлять героями тех, кто отдавал приказы о блокаде. Люди для них были тогда – пыль на дорогах истории. А вот у Кутузова, к счастью, не было тогда ещё опыта сталинских лагерей, куда людей бросали, как уголь в топку.

Солдатеич скомкал одну газету – взял другую. А там было написано такое, что волос дыбом. И не только написано – это сказано было в Америке, сказано в открытую:

«Сибирь слишком большая и не может принадлежать одному государству. Вопрос о богатствах Сибири встанет довольно скоро. Российская Федерация с населением 2 % от мирового контролирует 15 % территории Земли и до 30 % основных ресурсов планеты. Сколь угодно долго такое положение продолжаться не может».

– Совсем обнаглели! – рассвирепел Солдатеич. – Я этим чертям напишу!

– Кому? Что напишешь? – тихо спросила жена. – Письмо. Американцам. Я им отвечу в таком же духе. Я им скажу, что Америка слишком богатая и не может принадлежать одному государству. Вопрос о богатствах Америки встанет довольно скоро. Соединенные Штаты Америки с небольшим населением, но большим и вероломным аппетитом контролируют громадную территорию Земли, причиняя боль и страдания во всех её уголках только для того, чтобы захватить основные ресурсы Планеты. Сколь угодно долго такое нахальство продолжаться не может».

Разволновавшись, он закурил, забывая, что дым отправлять надо в открытую дверцу. Доля закашлялась. Он раздавил папиросу. Взял другую газету и неожиданно повеселел.

– Нет, не все ещё скурвились. Хоть у одного ума хватило вспомнить. Вот послушай. – Солдатеич, потрясая кулаком над головой, стал читать с выражением: «Россия – карлик, я поставлю её на колени!» Это в семнадцатом веке ещё каркал Карл двенадцатый, король Швеции. И что в итоге? Швеция навсегда лишилась статуса великой державы. А вот ещё. «Я покорю отсталую Россию!» – это уже в восемнадцатом веке грозился некий Фридрих, император Германии. И что в итоге? В 1759 году русская армия взяла Берлин. А вот ещё. «Россия – колосс на глиняных ногах!» – это Наполеон, император Франции, девятнадцатый век. И что в итоге? В 1814 году русская армия вошла в Париж. А вот ещё. «Я завоюю СССР к концу года!» – это уже Гитлер похвалялся летом сорок первого. А что в итоге – мы с тобою, Долюшка, отлично знаем, да?

Жена, ослабев от болезни, заснула, так и недослушав политинформатора.

Солдатеич тихонько открыл чугунную дверцу, все «фашистские» газеты побросал в огонь, а ту, где говорилось о победах русских армий, в сторонку отложил, чтобы потом ещё разок перечитать.

После «фашистских» газет он руки с мылом вымыл. Постоял у окна и подумал, что надо бы кормушку зарядить дробовым зарядом гречки или проса: кормушка для птиц – фанерный домик, ещё Николиком сколоченный в школе на уроке труда – висела в палисаднике.

2

Снегири слетели с кормушки под окном – испугались лошадиного топа.

Купидоныч, бывший старшина, который последнее время частенько жил в райцентре у старшей дочери, в зимний полдень на санях примчался.

– Ехал мимо, дай, думаю, проведу, – загудел он возле порога, отрясая белых голубей с воротника – весь тулуп завьюжило. – Ну, как вы тут, ребята?

Солдатеич палец приложил к губам. – Доля спит. Пошли на кухню.

Сели за стол. Стародубцев казённой водки предложил с морозу – поллитру держал для компрессов. Купидоныч не отказался, хотя заметил вскользь, когда уже рюмахи осушил:

– Из пулемёта лучше!

Солдатеич забыл, что речь идёт о самогонном аппарате, придуманном из пулемёта. В недоумении посмотрел на Купидоныча. Вдохнул.

– А ты чего гоняешь по степям в такой мороз?

– Дочке помогаю. Их две у меня, если не помнишь. Старшая работает учителькой в школе. – Рукосталь посмотрел на сани за окном. – Тетрадки к нам стали поступать из-за гра-

ницы. Гумани... Мани-мани... Как её? Гуманитарная помощь. Вот, погляди, Гомоюн. – Он тетрадку из-за пазухи выудил. – Нравится?

– Ну, а мне-то что? Писать на них? – Солдатеич пошуршал чистыми страницами. – Хорошая тетрадка.

– Хорошая. – Купидоныч посмотрел в пустую рюмку. – За такую помощь спасибо надо бы сказать заморским покровителям. Нашим-то властям не до тетрадок нынче. Кресла делят. Заводы и фабрики по карманам рассовывают. А заморский дядя, руководитель какого-то фонда, подумал о русских детишках. О бузотерах наших. Тетрадки, видишь, напечатал. Штук десять миллионов. Только необычные «китрадки». Посмотри на обратную сторону.

Солдатеич перевернул «китрадку» и обалдел. Глаза от изумления распухли. Он редко матюгался, а тут не выдержал.

– Вот ни ху-ху! – выпалил, как выстрелил картечью.

На оборотной стороне тетради, где обычно помещали таблицу умножения, красовались портреты президентов Америки.

– Мелочь, казалось бы. Да? – Рукосталь без спросу взял бутылку, налил себе и залпом осушил. – Мелочь, да. Но капля, которая, как известно, камень точит, – это ведь тоже мелочь. И таких мелочей от заморского дяди, а также от заморских разных тёток – с каждым днём, с каждым годом – приходит всё больше и больше. Там, на складе, я видел учебники по русской истории. Тоже заморские.

Они помолчали, угрюмо сопя. Снегирь под окно прилетел. Поглядел на мужиков и красной каплей брызнул в белизну заснеженного палисадника.

– Ну, и что ты с «китрадками» этими думаешь делать? – Как это – что? Я дочери везу.

Мрачней, хозяин наполнил рюмку, пододвинул гостю. – Дочери помочь – святое дело. А другу своему? Фронтовому брату? Разве не поможешь? Купидоныч выпил. Крякнул. – А ну, подробней. В чём дело-то?

– У меня дрова сырые. Ни черта не горят. А тетрадки-то сухие, надо полагать.

Однополчанин несколько секунд бестолково смотрел на него.

– Да ты что? – Он погрозил обрубком указательного пальца. – Меня дочка убьет.

Стародубцев заглянул ему в глаза. – А тебя убьют и так, и так...

– Не понял, Гомоюн. Чо ты буровишь?

Хозяин достал из буфета гранёный стакан, до краёв набуровил.

– Пей, братуха. Закусывай. И запомни вот что. Я тебя сам удавлю, если ты «китрадки» эти в школу отвезёшь. – Солдатеич телогрейку сдёрнул с вешалки. – Пошли. Половину выгрузим в сарай, а половину в сенцы. Мне скоро топить будет нечем. Прижимает нынче, просто ужас. Как дальше зимогорить, ума не приложу. Да мне бы ничего, но Доля мёрзнет.

3

Зимними днями он печку не успевал кочегарить, изумляясь тому, как быстро тепло исчезает. Как это так? Почему? Дыры, что ли, в избе появились после землетрясения? Или хозяин отдушины забыл закрыть на зиму? Степан Солдатеич не поленился, раскопал сугробы под окошками, проверил отдушины. Всё там закрыто, всё запечатано, как всегда это делалось на пороге предзимья. Так в чём же загвоздка? Печка перестала жар сохранять? Так нет же, нет. Солдатеич специально приглашал печного мастера. Тот посмотрел, обстукал и обнюхал и, пожимая плечами, сказал, что всё в порядке. А между тем, изба – ещё совсем недавно прочная, надёжная – день ото дня выстывала. В дальних углах уже даже крахмальная изморозь кружева распустила не похуже вологодских кружевниц.

Изба теряла душу – вот что не сразу понял хозяин. А душа в этом доме – Доля Донатовна. Её теплом всё было тут согрето. Её руками всё здесь обихаживалось, прихорашивалось. А как

только стала хозяйка сдавать, так сразу же всё охолонуло, всё пошло под уклон, приходя в неисправность, в негодность.

И приметы, в которые Стародубцев не очень-то верил, наперегонки пошли, полезли в дом и полетели. Мыши, например, по всем углам нахально стали шастать, портить Долину одежду. Пальто погрызли, обувь, платки, носки – ничего из этого уже не пригодится ей. И птица в дом влетела – не к добру; хотя она влетела, спасаясь от мороза. Но примета есть примета – хочешь, верь, а хочешь нет. И дурные сны тревожили всё чаще. У Стародубцева зуб, например, выпадал во сне. Огромный белый зуб – зубище, на пенёк берёзовый похожий. И не просто так он выпадал – фонтаном хлобыстала кровь. Кровный родственник, значит, помрёт.

Он просыпался с громко бьющимся сердцем – кулаком колотило по рёбрам. Прислушивался к дыханию жены. Уходил на кухню покурить.

Время шло, морозы отступали. Доля Донатовна, хотя и побледнела за зиму, но улыбалась – назло печалям. И Степан Солдатеич глазами сверкал, хорохорился, будто сам себе сказать хотел: иди ты в баню со своими старыми, плесенью покрытыми приметами. Хорохорился он, хвост пистолетом держал. А сердце ныло, ныло с правой стороны. Сердце скулило, как та собака, обострённо чующая близкую смерть человека, рядом с которым она находится.

Потом погода понемногу развесеннилась. Солнечная ростепель в окошко постучалась – первыми капелями, первым дождём. И Доля Донатовна сказала с печальной улыбкой:

– Ну, вот и дождалась...

– Кого? Чего? Тепла? – не понял Стародубцев.

– Не хотела я, Стёпочка, чтобы зимою вы землю долбили, копали мне...

– Ты брось! – Он стукнул ладонью по столу. – Мы тебе и весной не будем копать! Не надейся! Выкинь эту дурь из головы!

Она помолчала. Вздохнула. – Ну, не весной, так осенью...

– Ладно, пускай будет осенью. Тока лет через десять, пятнадцать. Поняла? Куда тебе спешить? Спешить не надо, милая. – Он достал газету из-за печки. – Вот, слушай, как тут сказано. «Кто понял жизнь, тот больше не спешит, Смакует каждый миг и наблюдает, Как спит ребёнок, молится старик, Как дождь идёт, и как снежинка тает». Омар Хайям.

– Да, да, кошмар краям, – согласилась Доля Донатовна. – Теперь кошмар не тока по краям. И в самом центре. Звёздочки с Кремля уже убрали?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.